

Малая Пречистая

Автор:

Василий Аксенов

Малая Пречистая

Василий Иванович Аксёнов

Рассказы из нового сборника «Малая Пречистая», как и большинство других книг Василия Ивановича Аксёнова («Оспожинки», «Время ноль», «Десять посещений моей возлюбленной»), погружают читателя в мир далёкой сибирской Ялани. Действие рассказов зачастую не совпадает по времени, но все они связаны между собой местом действия и сквозными персонажами, благодаря чему книга обретает черты единого повествования, с которым не хочется расставаться даже после того, как перевернута последняя страница.

Василий Аксёнов

Малая Пречистая

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

© Василий Аксёнов, 2019

© Александр Веселов, оформление, 2019

У пихтового домика

Возле старенького, с лесу нетолстого пихтового, с маленькими оконцами мутного, зеленоватого, с разводами, стекла, чуть ли не наполовину вросшего в землю домика – завалинка в опалубке бревенчатой. На прогнившем желобнике крыши домика – мох. Как патина на бронзе или меди. Наличники не окрашены, потрескались. На них такая вот чудесность истолкована: в разные стороны утки-селезни плывут – друг от дружки расплываются. То ли утки те чем удивлены, то ли что-то проглотить никак не могут – рты у них раззявлены, и широко. Под средним окном в пыли завалинки купаются курочки, и все рябы. Под правым – выдавленная, увоженная собачьей шерстью яма-канавка: лежанка Шарика. Под левым, совсем уж крохотным, как щель подглядная, окошечком, что у самых ворот, на завалинке расплуснута охапка соломы, а рядом с нею покоится квадрат фанеры – сорок на сорок сантиметров – такого примерно формата. На полянке, напротив соломенного гнезда, стоит пузатая лиственничная – листвяжная, по-местному – чурка. Низкая – как банная шайка, и без дужки. С чурки давным-давно мальчишки отколупали серу. Кора огладилась – свиньи об чурку часто чешутся, – но не отвалилась. Рыжие муравьи живут под чуркой. И двухвостка. Ладно.

Из-за крутой, высокой кровли противоположного дома-крестовика выползает солнце. Лукавое. Упирается лучами в три небольшенькие – в те, что не просто так, конечно, были упомянуты, – оконца. Щупает.

За переплётом рамы появляется старик. Прищурился. Жуёт – борода ходуном ходит. Ногтём поскрёб стекло. Осмотрел после ноготь. Ноготь другим ногтём поскрёб. Отступил от окна – исчез в потёмках горенки.

Глухо охнула дверь вскоре. В ограде разговор. Непонятен. Отвалились внутрь ворота. О забор ударились больно.

Затихло. Никого: забор ветх, но пока ещё непрозрачен. Уже душно: куры рябы, задыхаясь, глотают воздух. И рты у них – как и у уток – приоткрыты. Про тех тут уток речь, что на наличниках.

– Долго я тут стоять-то ишшо должен? Сколь тебя, выстар, ждать? Сутки, ли чё ли?

Медленно, как летняя северная ночь через сумерки, переступает через подворотню дряхлый пёс. Вряд ли старее-то бывают. Два бельма, как две жемчужины, навывкате: чувствуют мир, но не зрят. Блеклые. Шерсть – как на прялке кудель – клочьями. На спине – пунцовые заплешины. Отшлифованы они, заплешины: смерть об них давно уж трётся – отполировала. Ну а что же.

– Тупай, тупай, слепошарый. Не стопори.

Говорящий не виден, говорящий – за столбом, столб – с проушинами: когда-то там, в проушинах, слега лежала и крепилась. Ну так.

Медлительно обошёл чурку пёс. Не обнюхивал, хоть и было что. Достиг края завалинки. Постановывая, поднял на неё передние лапы – как докладчик на трибуну. Замер – как перед речью. Молчит.

Плавно прикрыли ворота прогал в ограду: за кожаный шнурок притянул их старик. Часто переступая, словно трамбуй под собой взрыхлённую земельку, отвернулся старик от ворот к солнцу. Погрозил солнцу старик кулачишком пятнистым. А что там.

– По репродуктору, порядку радив, справедливости, сравниваюсь. С каждым днём, мотрю, всё пожже ты и пожже. Не шали мне – рассердишь.

Нога в сером, латаном валенке. Как в броне. Другая – на деревяшке с резиновой подмёткой. Территорию печатывает. Метит. Печати круглые, глубокие – подделать трудно их. Ещё бы. Из прорехи штанов глядят зелёной фланели исподние. Облезлой шапки – век её возрасту – в стороны уши. Задом наперёд она на голове, шапчонка эта. Тесёмочки повисли. Болтаются. В глазах деда хитрость первородная – ну а что, бывает: вильнёт умом мужик, как пёс хвостом. Ясно.

– Час, час, не скули уж... как этот... как гамнюк. Я тебя терпел, теперь ты обожди. Не барин какой – от минуты не сдохнешь. А и сдох бы, дак и ладно.

До пса добрёл старик. Согнулся. Ухватил его за задние лапы. Приподнял на завалинку. Стоит Шарик – как лектор за трибуной. Молчит. О чём-то думает, так вряд ли. Обо всём уже передумал – наверное, теперь – без мыслей доживает.

Долго в лёжке устраивался пёс. То так, то эдак располагал лапы. Положил на них морду, отнял. Переустроился. Утих. На носу капли влаги. Бисером.

С бельма эмалевого в землю слеза крупная: потемнел кружок пыли.

– Опять тут сырость мне разводишь... тоже.

У соломы уже старик. Поправил ворох. Взбил, как перину. Готово-уселся. Расстегнул ватник. Пальцы дубовые – едва справились с пуговицами. Справились. Вылинял – белёс сплошь ватник. Как пепел. Из-под мышки плюшевую подушечку с медалями на ней и орденами вынул. Сверкнули. Уложил подушечку на фанере. Нравится, как лежит. Огляделся. Пощипал Георгиевский крест – пристало что, или так, поблазнилось. Сидит, довольный – а что: фронтовик-победитель – не шутки. Ещё раз, уже по-приятельски, погрозил солнцу: ишь ты, лобастое. Тому что – светит, поднимается. Перед стариком старается – а перед кем же.

– Я, Пшеничкин Игнат, и отроду яланский, шутя себе домишко этот выстроил-воздвиг, шутя коровёнку дойную купил, шутя её и продал за бесценок, кто-то сожрал её за милу душу, ну дак чё там, раз говядо. Шутя бабу завёл, шутя и похоронил, и Царство ей Небёсное, а чё тут. Шутя с бабой детей немало народили, шутя гдей-то люди добры в глинку их, в песочек ли закопали – на то надёжа – под небом блекнуть не оставили... не стынут и не мокнут косточки их под дождем-под снегом-то – и ладно. Шутя вот и сижу. Шутя и в ус себе не дую – привычки нет такой... дак чё уж.

Шороборятся курочки. Чужие – соседские. Радостно им тут – пусть вошкаются. От завалинки не убудет. А веселья всё больше: куд-куда, мол, куд-куда, есть у курицы... Курицам – куричье, а Игнату – Игнатово. Пусть себе. Спокон веку, ещёбыч. И курица – от Бога. Квохчет – молится – живёт-то.

– Сёдня, девки-курицы, праздник. Сёдня можно себе разрешить, дак и чё, – хлопнул ладонью старик по карману ватника. Зазвенело в кармане. – Сёдня как-никак, а Петров день. Пожертвую, засранки, маленькой. Да и как ею пожертвуешь, ежлив она уже есь, ежлив она уже куплена и в шифоньерке за дверкою томится-прячется. Прозрачная. И какая из себя приглядная, дак чё – чикушечка. И – с атикеткой – государственная. Деньгою – той пожертвую – не шальная. Сёдня можно. Сёдня и сам Бог велел, не Бог, дак – Пётра, он, Пётра,

скажет Богу: сёдня можно, мол, ну а Игнату – дак особливо... раз фронтовик-то... и крестьянин. Столбовой, к тому же, а не просто.

Из-за угла – ватагой плотной мальчишки. Шумные. Загорелые. Босоногие. Подступают смело. За майками – горох ворованный, ясно. Лушат. Как бурундуки. Карманы штанов брюхаты камнями и рогатками. Угроза воробьям, кошкам и стёклам.

– Здорово, дед Игнат, – приветствуют.

– Вам наше, варнаки, коли не дразните. На заработок пришли? Или так, куда проскоком?

– На заработок, – один за всех, бойкий.

– В прошлый раз я вам наперёд отдал – и дурак последний был, не знал, как бытто, с кем связался. Не спал после всю ночь, себя жалеючи, навывлет. Сёдня оплата, как оттрудитесь. Не хотите, не надо, других найду. Желающшых – пруд пруди. Ялань большая, нанимай кого хошь, бабу каку кликни, дак любая согласится – не за чё-то там – за деньги.

– Ладно, давай, деда, после. А ты не надуешь?!

– Да как же можно! Не обучен я омманывать – не продавец. Всё по-честному. Вы по совести, и я по стыду – ишшо с соплями-то не съеден. Без подлостей, а иначе-то... и мир же рухнет.

Заскулил Шарик.

– Володька, пойдика, почеси ему за ухом. Болячка у него там, у гада. Не шибко тока. Больше ишшо не раскарёжь. От тебя ждать можно всякого, любую подлость.

– За так, ли чё ли? Даром, дед Игнат, чиряк, и тот, сам знашь, не сядет. – Нет у Володьки одного переднего зуба, под носом и на носу у него – весна-половодье.

– Вот, выродок, язви тебя... рыжий мерин... один такой, поди, на белом свете. Ладно, накину тебе пятак сверху... Одно слово – Чеславлев, больше ничё уж не дополнишь.

– За пятак сам пусть чешется, не инвалид войны...

– На кино хватит. Чуть добавишь – хватит и на паперёсы.

– В кино я и так пролезу, ещё пятак там стану тратить, а паперёсы – полон шкаф у папки.

– Ну и не чеши, плакать будто будем. И, вправду что, сам прочешется... Вишь, и ногу уж отвёл, ему б ведь чё, ему бы лишь как половчей тока прицелиться да замахнуться, – хитрит Игнат.

Подался Володька к Шарику.

– Начинайте! – скомандовал старик и привалился спиной к оконному наличнику. Зажмурился. – Приступайте, мать вашу в болоте между кочек!

Подняли мальчишки ногу его на чурку. Валенки с ноги сняли. Носок с неё стянули.

– В пим яво, носок-то, пожалуй, не суйте. Пусь на ветру малёхонько пообьют... отопрел-то, – скрючил пальцы на ноге старик. Ногти жёлтые. Потрескавшиеся. Как глина в зной – так же. – И ту тоже... культю забросьте, – повелел старик.

Рядом с ногой легла и деревяшка. Как пушка. Выстрелил дед. Засмеялся.

– Свины вон в лыве, – говорит, – дак не промахнулся, так прямо в задницу и залепил той, самой жирной. Она не ваша ли, Володька?

– Дед Игнат, тебе щепочкой?

– Пятку шщепочкой – конечно, а подошву – когтями, дак чё.

– А проволокой?

– Проволокой нельзя. Как можно ей – жалезная, – вострепенулся старик, открыл глаза. Ощупал ими руки мальчишек. Закрыв снова. – Поехали. Володька! Отстань, по-путному прошу тебя, от кобеля... пятака не увидишь. А и её ишшо не дам, зарплату.

Засуетились мальчишки. По очереди скребут щепками пятку деду. Щекочат подошву ему пальцами.

– О-о-о-ой, ой, ой! Мать вашу в болоте! О-о-о-оах, хорошо, да как ещё хорошо-то, просто: ра-а-адось... А пошибче-ка пяточку, пошибче её, старую. Так, так её. О-о-о-о-о-о. Занозу-то не вгоните... Вот так, вот так исхоженную, об землю сплюснутую. Ой-е-ёй-ох, деньги зарабатывают. Ой-е-ё-ах, конфет-пряников накупят. В кино военное сбегает, ох-ой, труженики, шпиёнское поглядят, махорочкою вкусно обдыматься.

– Хватит, может, деда, а?

– Дак пашто это?! – приоткрыл – слезятся – глаза. – По гривенному ещё не заробили. Чё мамки скажут, грабит, дескать, Игнат Пшеничкин, подзаработать толком ребятишкам не даёт, мол...

– Прошлый раз мы и то меньше тебе чесали.

– Прошлый раз я вам деньги раньше выдал. И дурак был, говорил уже, признался. Неправильно было с моей это стороны. Не жалаете – дело ваше. Других сыщу, ведь тока свистни... мальцов безденежных-как воробьёв вон... О-о-о-о-о-ой, ой, ой, мило-любо... другой, жаль, нет, а то бы вовсе... Вовка! Шельмец. Не трожь награды – пятак не получишь. Свои заслужишь, с теми цацкайся. Своих-то, правда, вряд тебе когда видать, в тюрьме наградами не жалуют... О-о-а-а! По два гривенника уже, так считаю. Шибче, шибче. Ну и ребятишки, ну и старальщи. Не здря сосали титьки мамкины, толк из вас вышел. Ещё копейки по две. Ох, раз-зорите вы старика – на поминки гроша не оставите. Сёдня Петров день, та-а-ак. Через три дни у меня – «За боевые заслуги». За день до Ильи – орден Красной Звезды. Дождя не окажется, дак в это же время милости просим. Шашнадцатого числа – «За отвагу». Прошу пожаловать. О-о-ой, хорошо-как-замечательно. Денег на вас не напасёшься. Чё дальше – после, доживу ежлив,

дак скажу... Там, глядишь, и Спас... Жаль, что царский-то когда, день точно не припомню... знаю, что осенью, а вот когда?..

– Хватит, дед Игнат. Руки уж пристали.

– Ну а ещё-то на копеечку, то вдруг где не достанет... Атам и с Богом. В магазин. Чё в магазине этом тока нету... А иной раз из-за копеечки – нет её малой – и слатости какой не купишь – обидно.

– Всё-о-о, не можем больше, руки вон уж онемели.

– Да всё ли? Это на полкопеечки. Ну да будет, уж и вправду, приневоливать не стану, не мучитель. И то потрудились. На славу. Обувайте. О-о-ох, жизнь – вроде и дар, а истое томно, а деньги – те и вовсе семючки, не семючки, а скорлуха... С австрийцами, учил Суворов, не водитесь – ну их.

Обули деда. Достал дед из кармана монеты. Долго то с той, то с другой стороны каждую разглядывал. Расплатился. Вовке на ладонь – отдельно пятак.

Присвистнул Вовка, кулак свой конопатый сжал. «Хапуга», – сказал ему дед. «Хм», – ответил Вовка.

Прочь взапуски они, мальчишки. Пятки у них мелькают – грязные. За углом скрылись.

Откинулся к стене старик. Тёплая. Задремал. Дремлет пёс. Разбрелись от завалинки куры. Щиплют траву. Шевелятся синие губы старика – во сне бормочет:

– Шутя две германские отбрыкал, вторую – дак особливо, шутя двенадцать рублёв пензии приносят на дом – как генералу, дак чё... Шутя маленькую купил, шутя уже и остограммился... Шутя Дуню похоронил... Дунину жакетку под голову подкладываю... мягкая, как Дунина душа... Из яё, из жакетки, Дуня мне подушечку для медалей выкроила... Ноги у Дуни в зелёных жилках, жилки с синими узелочками. Как на вышивке, дак чё. Пусь подушечку мне на грудь, как Рокоссовскому... Не увидела Дуня этой – к тридцатилетию... недавно отметил... красивая. Да и с ребятами коль встретишься, дак чё – не стыдно... ох, сынулечки – много вас было – как начну считать, дак и сбиваюсь... И Шарика рядом, пусь сторожит, хошь и засранец... Его бы, правда, постерёг кто, а то бельмо вороны

выключают. Может, там оклемается... Кто знат?

Нашлось бы тут похоронить кому нас. Разве кто из суседей сжалится... Ох, соскучился. Ох, стосковался. – Борода мотается. – Ох, а устал-то... И чё Он дёржит, а не приберёт-то?..

И уж выезжает из ельника на гнедом коне в белой, длинной холщовой рубахе отец Игната. Верхом Пшеничкин Иван Елисеевич. Серпом усы. Борода наковальной. Уздечка в одной руке. Другой рукой коня по ушам лупит. За конём борона волочится, зубьями стерню дерёт – новая борона, железная, в Исленьске за зерно приобретённая, ну так – во время нэпа.

– Э-эй, тятенька, опять ты, вижу, за своё, – качает головой Игнат укорительно. – Всё бы и диковал.

– Дикую, Игнаха, ой и дикую, мать честная. Забил до полусмерти баб обеих, теперь вот конишку почём здря лупцую. И когда всё это только кончится, не знаю. А ты-то как тут, парень, а?

А Игнат будто и не смотрит на отца. На солнце, прищурившись, глядит. И говорит как бы так – нехотя:

– А ты вот, тятенька, всё бы и спрашивал. И любопытный же. Ну, чё вот я тебе могу сказать? Ну, чё? – И теперь уж в глаза отцу Игнат глянул. И совестно ему за грубость свою сделалось. – Ну как, как, – отвечает, – да так вот – шутя. Сдохнуть никак вот тока не могу – ни шутя, ни сурьёзно. Да и чё, еж-лив ты и там такой же, каким был здесь?..

– Эх, Игнаха-Игнаха, драть тебя некому, а мне – некогда. Я ведь всё как? Я ведь всё, парень, на ходу. На ходу родился, не родился, а выпал, да ладно, что на пожню, а не об пол, а то башкой бы повредился... на ходу жил, на ходу и помер. Был ты у меня, а какой – дурак или умный, ленивый али работяш-ший – и того не помню.

Пляшет по стерне борона. Лупит коня Пшеничкин Иван Елисеевич рукой по морде. Танцует под ним конь. И через речку ать галопом. И через польцо после. И в гору. И конь уж большой такой – ельника выше. А Пшеничкин Иван Елисеевич оглядывается на сына и гогочет.

– Ну, дикой, ну, дикой, ну, заполошный, – качает головой Игнат Пшеничкин. – Как был сдрешным, сдрешным и остался, никакой чёрт с котлами и сковородками яво не исправил. Дак чё уж.

Уходит на другую сторону солнце. Прощается со стариком. Пихтовый домик тень на завалинку кинул. Затрясло пса. Стонет. Разбудил Пшеничкина Игната.

– Чего, шелудивый? Вставай, хватит дрыхнуть. Простынем, чего доброго, кто лечить будет? Подымайся. Пойдём в избу.

Замигал бельмами. Поднялся кое-как пёс. Дрожит на ногах.

– Иди-иди. Думаешь, что чё – что я к тебе, ли чё ли? Велика честь, барин, будет, ишь ты, удумал тоже. Давай, давай, сам управляйся.

Побрёл по завалинке – хвост по земле. Едва равновесие держит. Ткнулся носом в руку старику. Заплакал.

– Не реви тут, сволочь, без тебя тошно. До завтра-то уж кого. Ночь – не век, доживём – погреемся... ежлив солнце – то ещё нам не подпакостит, канешно.

Спустился старик. Отряхнул штаны. Взял с фанеры подушечку. Пересчитал награды: кто, мол, знает, ушлый малый этот Вовка – и стибрит как, не уследишь. Засунул подушечку за пазуху. Застегнулся. Долго застёгивался. Устали пальцы. Не проснулись ли ещё? – а что, бывает. Обхватил пса поперёк туловища, снял с завалинки. Поставил на поляну.

– Ух уж и навозу-то в тебе – тонна. Грыжу через тебя заиметь – не хватало. Кормить надо меньше – сам тут дурак – разбаловал. А перед Богом бы не отвечать, совсем бы не давал тебе ни крошки – сдохни, дак чё, никто бы и не вспомнил. Супок этот ты сёдня не получишь... пожалуй. Сам съем, один – в пустом брюхе уместится. Завтре, может, и не понадобится, всё ведь оно так: вечер с ним щи хлебал, а утром киселём яво поминал, так, нет, ли чё ли? А, выстар, чё молчишь-то?.. Обиделся, ли чё ли? Дак на обиженных-то, знашь...

Пошли: впереди – пёс, хозяин – сзади.

– Шевелись, шевелись, не путайся. Плетёшься, как жерёбий.

Ткнул ворота. Повалились. Ушиблись о забор крепко. И тому, забору, больно: содрогнулся.

– Долго тебя ждать? Сколь тут? Через подворотню-то уж сам, небось, переберёшься. В конец разленился. Отец – тот жив бы был, дак нянчиться, как я, с тобой не стал бы, порешил бы быстренько, и глазом не моргнул бы. Таскай его тут на руках. Ишь, в моду взял, свыкся. Вот завтра в избе оставлю, а то, надумаю за ночь, и в «Инвалидку» сдам тебя, гадёныша. Ну дак а чё – вконец извёл уж.

Перевалился пёс через подворотню. Исчез. Зашёл в ограду старик. Отвёл от забора ворота. Отпустил. Хлопнули. Отлетела от них доска.

– Нечистая. Из-за тебя всё, слепошарый, – высунул голову в прогал. – Завтре первым долгом доску приколотить, забуду, дак напомним.

Пропал из виду. Ушёл было. Вернулся. Просунул в щель руку. Затянул в ограду доску.

– Упрут ещё. Народец-то... льдину найдёт, дак ту домой уволокёт, а там, хрен с ней, пусть и растает – лишь бы кому другому не досталась. Ясно.

В ограде разговор. Непонятен.

В новую дыру видна высокая, густая трава. Не колышется. Давно там растёт: привыкла.

1982

Пасека

Такое дело вот: сибирский знойный день. Тишину разыгрывает дуэт: гудящий, до белёсости раскалённый воздух и взвешенная в нём шелестящая пыль, вспугнутая изредка пробегающими по тракту грузовиками и легковушками, – спелись, что называется. Время от времени в какой-нибудь перегретой коровьей голове что-то случается – корова вытягивает туго шею, закатывает обезумевшие вдруг глаза и своим протяжным, бездумным, как кажется, рёвом сбивает дуэт с толку. И, словно расстроенные фисгармоники, нет-нет да и вступят чахлые бляения обмеченных репейником овец, слоняющихся по селу в поисках окурков, пачек из-под папирос, выброшенных кинобилетов – словом, что подвернётся – для жвачки. И уж вовсе фальшиво, с вредительской будто целью, в мелодию яланского летнего дня врываются протяжные гудки машин, с помощью которых взмокшие от жары и досады шофёры тщетно пытаются согнать с дороги стадо. Стадо невозмутимо, еле-еле пошевеливает грязными хвостами, отпугивая назойливых слепней и паутов. Над стадом крепкий аммиачный дух витает, висит – вернее. Тот или иной водитель высовывается по пояс из кабины, лихим словом поминает скот, его хозяев, хозяйскую душу и саму деревню, как конкретно, то есть Ялань, так и вообще. Кажется, это последняя капля в терпение музыкантов, после которой явный бунт: воздух перекаляется, а взвешенная в нём пыль бездвижно замирает – и теперь любой звук в них глохнет. Видно, поэтому молчат собаки умные. Распластавшись на засолечных завалинках, под телегами, за поленницами, высунув языки и пуская слюни, они дышат, как финишировавшие бегуны, безучастно поглядывая при этом на самозабвенно клохчущих куриц. Кто-то где-то говорит, кричит ли даже, но эхо в зной не работает, и слышится всё едва-едва. В иную минуту думается, будто Ялань вымерла. Но ничего, слава Богу, подобного. Яланцы – в самые пекущие часы ? ибо дремлют в прохладных сенцах, либо пьют без усталости простоквашу, по-ялански «простокишу», и хлебают крошку, доставленную ими же из погребков.

Только во дворе пчеловодов Треклятовых, несмотря на пекло лютее, суется, только там людское оживление. Сам хозяин, Прокопий, сидит на пыльном крыльце, курит трубку и пускает в белёсое небо вялый, ленивый дым. Суется его жена Аграфена и дети.

Аграфена, перебирая на возу манатки и провизию, вслух вспоминает:

– Крупу... взяли. Хлеба... взяли. Капканы... взяли. Соль... соль... а где?.. а, да, взяла. В бидон запрятала, уж и забыла... Прокопий! Тебя к крыльцу-то воском, чё ли, прилепили! Патронташ не забудь. Сразу вон на телегу положи его, к ружью, лежи он тут. А то так и уедешь... Тама-ка где-то он, в кладовке, на гвозде...

И, зверь где ее лив, трубкой пукать – пугать его будешь. Не приведи Господь. Да подымись ты, трутень окаянный!.. Крупу... взяли. Хлеба... взяли...

Два мальчугана, погодки – свидетельства Аграфениной верности супружеской, – такие же рыжие и носатые, как Прокопий, запрягают лошадь. Лошадь спит. Прокопий, посмеиваясь через трубку, наблюдает за сыновьями и поддразнивает старшего:

– Вовка, а ты пошто её боишься-то?! Ей, баушке, сено жевать нечем, не то что твои уши, на твои уши зубы-то нужны какие – жлезные. Спалкал бы вон лучше, патронташ мне вынес – один хрен запрягать не умешь – как стрижа в кулёмку путашь.

– Ну дак как же! Тебе мамка велела, ты и иди, нечего на другого перекладывать. А запрягать тебя ещё научу, – огрызается Вовка. И язык высунул, хомут стягивая.

Прокопий фыркает довольно.

– Под носом вон ещё – лягушек хошь плоди, учитель хренов.

Аграфена, убедившись в наличии всего необходимого, накрывает воз брезентом и, увязывая его старыми вожжами, голосит, будто заблудилась:

– Катька! Надька! Нинка! Девки, где вы, а?! Идите-ка сюды!

Из дома друг за дружкой выходят три девочки и, прищурившись на солнце, становятся за спиной отца. Мать, не оборачиваясь и не отвлекаясь от того, чем занята, говорит им:

– Морковь продёргайте, барыни, горох прополите и картошку с воскресенья тяпать начинайте. Пора уж. Перерастёт. Да свиней, смотрите, в гряды не запустите, а то устроят тут... всё перепашут!

Потом, время выберете, и дустом в куте посыпьте, следите только, чтобы Манька с Юркой заместо сахару им не объелись, как вон у Лебедевых... ихний-то мальчишка, Царство Небесное рябёнку.

– Во, пулемёт-зенитка, ну, зараза, оглоушила, – вставляет Прокопий, выбивая о плаху крыльца свою трубку.

Аграфена пропускает это мимо ушей.

– Телёнка – пусть не на улицу, но на пригон хошь выпускайте. В стайке-то всё, дак уморится и подохнет.

– А-а-адно, – нараспев обещают девочки.

– Чего же ещё-то? – напрягает Аграфена память, вытирая платком пот с лица. – Голова, как кумпол прямо... А!.. Петьку по ночам будить не ленитесь, пусть хошь и так – дежурство хошь назначьте... То матрасишко весь сгноит, паршивец. И раздевайте, спать-то как ему... Ну, а ты так до ночи и будешь сидьмя тут сидеть?! Отдирай свою задницу, ехать надо, – обращается она к мужу.

– Жар-то, может, переждём, а, баба? – говорит Прокопий, поворачивается и подмигивает дочкам.

– А ты бы всё переждал, век бы и сосал свою соску, – говорит Аграфена и добавляет: – Не восковой – не расплывишься.

Прокопий, кряхтя нарочно громко, поднимается, отрясает со штанов сзади пыль и исчезает в сенях, через некоторое время выходит оттуда, спускается с крыльца и издали ещё бросает патронташ на воз.

– Бросай, бросай, ненормальный... Может, когда-нибудь взорвутся. Ребятишек-то вот захлестнёт, – предупреждает Аграфена.

– Дура, – говорит Прокопий.

Проверив упряжь, он садится на телегу. Аграфена подстилает старый ватник и устраивается с другой стороны.

– Ружьё не согни, баба.

– Не загнётся твоё ружьё.

– Да кто и знат. Аграфена!

– Ну?

– Телегу-то как осадило. Вовка, глянь-ка, ось под матерью не треснула там?

– Ты не мели-ка чё попало, – одёргивает Аграфена мужа. – Я-то думала, чё путнее он.

– Ну, ночной рыбак, – возглашает Прокопий, – отворяй ворота!

Петька, от удовольствия зияя ртом беззубым, спешит исполнить отцовское приказание.

И вот Прокопий и Аграфена выезжают со двора. Два мальчика и три девочки стоят возле ворот и вяло машут родителям руками. Мать, увидев в окне прощающихся Маньку и Юрку, грозит им пальцем – на всякий случай. Отец оглядывается и строит двойняшкам рожу. Те, повизгивая, влипают лбами в стёкла. Вдруг, вспомнив что-то, Аграфена кричит старшим:

– В кино будете убегать – избу замыкайте! Бандюг-то мало ли теперь тут всяких шлятца! А лучше и не ходите! Дома играйте! Нечего маленьких одних оставлять – себя и избу ещё спалят, помилуй Господи! Витька объявится, передайте, как приеду, высыплю ему как следует за то, что смотался!

– Да не ори ты... Кобылу вон перепугала.

– Ничё с ней, с твоей кобылой, не случится, заикой-то не станет.

– Да хрен и знат.

До леса едут по тракту. Горячий воздух сушит во рту. Обычно речистая и большая охотница до житейских фантазий и мечтаний, Аграфена безмолвствует. Неизвестно, сколько бы длилось молчание, возможно, что и до самой пасеки, если бы не одно обстоятельство. За только что кончившейся пустынной улицей, где даже в окно на шум проезжающей телеги никто не выглянул, недалеко от

дороги на поседевшей от пыли полянке увидела Аграфена спящего мужика и с интересом принялась разглядывать его скомканный и скрученный на спине пиджак, одну в кирзовом сапоге, другую босую – ноги, руки, вывернутые так, будто плясал, плясал мужик да и упал, уснув прямо в пляске, и его бурые от глины штаны. Аграфена изучила тщательно объект и зафиксировала в памяти некоторые детали – на случай будущего рассказа. Не Прокопию – кое-кому. По дальности расстояния закончив осмотр, она сказала:

– Убайкался, горемыка, – сказала так и ткнула локтём в спину мужа.

– Чего?

– Смотрел?

– Смотрел.

– Куда?

– А куда надо?

– Такой же, как ты.

– Кто?

– Да вон, проехали-то... На пляже-то как который распластался. Уж будто и не ви-идел...

– А-а-а.

– Знать бы, на что человек пьёт?

– Нравится, вот и пьёт.

– Я говорю, на какие такие шиши?

– Не на твои же.

– Ага, ещё бы на мои! Мне одного такого вон по горло... И ничего с ним не случится, с паразитом.

– А чё тако случиться с ним должно?

– Путнего человека давно бы уж ударило. Солнце-то, слава Богу, ишь наяриват как.

– Ударило же! Не ударило бы, не лежал бы там.

– Дак как же! Вас, пьяниц, никака холера не берёт.

– Взяло же мужика.

В другое время Аграфена с азартом бы продолжила разговор, тему эту она за свою жизнь отработала и отшлифовала, но сейчас – язык непослушен, мысли в клубок будто спутались, а распутать их – сил нет – жарко.

Вот пчеловоды съехали с тракта на конную, травянистую дорогу. Ялань постепенно, дом за домом, скрывается за лесом, вернее, лес, медленно смыкаясь, прячет от уезжающих деревню. Аграфена и Прокопий, последний раз кинув на неё взгляд и мысленно с нею попрощавшись, натягивают на лица сетки, спасаясь от облепивших сплошь их сразу комаров.

– Комар сеягод дурной, язви яво, – говорит Аграфена. – Слепня – того вроде не так, а этого гада – эвон чё – тучи. И пекло им такое нипочём.

– Хватат, – рассеянно поддакивает жене Прокопий.

– Лонись поменьше вроде было... Узнал его ты, нет? – резко вдруг на другое переходит Аграфена.

– Кого его? – будто бы не догадывается Прокопий.

– Того, на полянке... как пугало-то будто уронили.

– А-а-а.

– Узнал?

– Нет. Бич, ли чё ли, какой? Или вербованный? – ? хитрит Прокопий.

– Ну дак конечно, – простодушно отрицает Аграфена.

– Ну дак а кто? – пытается он.

– Костя! – торжественно объявляет она.

– Какой Костя?

– Какой, какой! Один у нас такой. Чекунов.

– Да иди ты! Шурин, значит, – удивляется якобы Прокопий.

– Марью жалко... хошь и брат, – вздыхает Аграфена.

– Не разрыдайся.

– Прокопий.

– Чего?

– Жара-то такая – роёв, наверное, повылетало...

– Наверно. В город не надо было...

– Жалко.

– Жалко у пчёлки знашь где... Чё теперь – бегать по тайге за ними, собирать?

– А хошь и бегай, собирай. Связался с этой пьянкой! Давно бы уж...

– Приедем – и бегай. Носись на здоровье хошь всю ночь... Но только ботало надень на шею, чтоб потом искать тебя было легче – к утру-то куда ускачешь... до китайской границы. – Прокопий разгладил под собой сморщившийся брезент, разгладив, добавил: – Говорил же, Витьку на пасеке оставить, и следил бы.

– Ага, твоёва Витьку и оставишь. У Витьки одни девки науме... Весь в тятю своёва, голимый...

– Аграфена, Аграфена! Смотри-ка, кобыла-то чё утворят!

– Тьфу на тебя! Ты, мужик, чё-то чем старе, тем дурне становишься, ага.

Плюнув на личинку сетки-накомарника, Аграфена отвернулась, а Прокопий – тот живо и без шороха достал из внутреннего кармана пиджака распечатанную бутылку портвейна, скрыл её под сеткой, затем, вынув зубами бумажную затычку и перехватив её в руку, тихо приложи лея, между глотками отстраняя ото рта посудину и приговаривая:

– Смотри, смотри. Экая прорва, ни стыда в ней и ни совести – прямо в лицо-то людям. И откуда чё?! Ты глянь-ка!

Аграфена, бранясь, опять плюётся.

Прокопий, насытившись и заткнув бутылку, хоронит её на место, затем, стегнув вожжами, понукает лошадь:

– Нну-у, пошла. Хватит уж тебе, а то и нутренности на дороге все оставишь.

Кобыла чуть лишь ускоряет ход, но вскоре возвращается к своему прежнему неторопливому шагу. Колёса телеги, повизгивая на осях, проваливаются в глубокие колеи, медленно из них выкатываются и оставляют на траве узкий, мокрый след.

– В осиннике вон, в земле-то ещё влага держится.

– А?!

– Ты чё, баба, уснула, ли чё ли? Я говорю, в колеях, поглубже где, вода ещё стоит.

– Ну дак а чё ты хошь: осинник – в ём так от веку... раз в ём Июдаудавился, оттого и сырось.

Тоненько нудит гнус. Где-то в ельнике, потея, долбит дятел. Из усохшего пырея вылетают мелкие пичуги, спасающиеся в нём от пекла и от ястребов. А возле самого солнца висит коршун и, уже отчаявшись, похоже, просит у неба пить. Пить ему небо не даёт – раз ведро.

Перед крутым подъёмом на сопку Аграфена поворачивается к Прокопию и спрашивает:

– Мне слазить?

Не спроси Аграфена, промолчал бы и Прокопий, но...

– А чё, подсказывать всё надо!.. Кобылёнка бы себя-то, дай Бог, как вташшыла.

Женщина прыгнула с телеги и, придерживаясь за неё одной рукой, другой – обмахивая лицо сдёрнутой с головы сеткой, засеменила следом. На горе снова забралась на воз, шумно отпыхиваясь и, накидывая сетку, забормотала:

– Ой... батюшки мои... ой, душа-то чуть было ни вон... ох, живот-то чуть не отвалился...

– Ну, уж не помирай. – Прокопий так ей. – Тебе полезно изредка размяться.

– Ой... потом-то как сразу прошибло... Полезно! Не девочка уж, наверно.

– Не наверное, а точно... да и давно уж.

Телега загремела на спуске. Обдаёт ветерком.

Овод отстал и роем въётся вдогонку.

– Благодать. Вот так-то бы обдувало – какая бы красота. А то как в котле стоит.

– Да уж.

– Прокопий.

– Ну?

– А если комиссия приедет?

– Ну дак и чё, что приедет?

– Как чё! А фляги-то с мёдом?..

– Первый раз, ли чё ли? Чё, ты думать, они в ямку полезут?

– А кто их знат. Поручись-ка. Вдруг надумают?

– Ты, баба, век прожила, а ума ни на грош не накопила, как было в голове дупло вместо мозгов, так дупло там и осталось. Знать, чё им нужно?

Аграфена молчит. Прокопий продолжает:

– Медовуха – вот чё, баба. Она, родимая. Они из-за медовухи из города да по тайге, да нагишом, да по-пластунски поползут, и не смотри, что बारे, мать честная!

– Ой да конечно! Все как ты прямо. А может, не приведи, правда, Господи, а новый кто как будет?

– А новый, дак и не человек, у нового, дак и не брюхо, а рузлак вместо брюха, и вливать у него, у нового-то, будто некуда. А хоть и залезут, на ём же, на меду-то, не написано, наш он или государственный, и рот, слава Богу, не раззявит, как ты, и не заорёт: не ихий я – ворованный!.. Аграфена!!

– Ой, сдрешной! Ты чё, ополоумел?

– Смотри, смотри, кобыла-то чё вытворяет!

– Тьфу ты!

На сей раз Прокопий дольше не отрывается от бутылки. А управился и говорит:

– Нну-у, пошла, лихорадка.

Освободил лицо от накомарника Прокопий, опустил на колени вожжи и достал кисет с трубкой из кармана. Просыпавшийся на штаны табачок собрал в щепотку и вернул в кисет, остатки смёл. На его небритых щеках и вспотевшем носу повисли разбухшие от крови комары, но, в благодушии, не чувствует Прокопий их.

– Баба.

– Угу.

– Ты слышала, Огурчиковы в городе дом купили?

– За сколь?! – встрепенулась Аграфена.

– За десять тысяч.

– Ой, тошна мне. Да ты чё!

– Я-то ни чё. Ты вот пошто орёшь, как будто режут? Не сообщшили тебе, чё ли?.. Ну и ну, и как же так-то, баба, а?

– А кто мне?.. Носу всё лето не кажу из огорода. Тебе-то кто сказал?

– В газете было написано, но и по радиу передавали.

– Ага, по телявизеру. О-е-ёй. Вот деньга-то где какая! Только что, зимой – машина, таперича-дом за десять тысяч. Да, умеют люди жить, знают, как из

говна выбратся. Нам бы хошь за шесть – за семь где подыскать. Правда, пьёт не так, конечно, он, как...

– Ну, зараза! Что ты будешь делать! Чё это с кобылой нашей сёдня? Взгляни-ка.

– Ты чё, как чокнутый-то, привязался!

– Как это чё? Жаль кобылу. Может, прихворнула? Или объелась чего? Да ты ещё орёшь весь день тут оголтело, а у неё, как в пустой цисцерне, от эха всё, может, там и поотваливалось.

– Кобыла как кобыла. Всегда с ней так: как куда ехать, так и прудить да валить.

– Ну дак не кажну же минуту.

Чуть погодя швырнул Прокопий в сторону порожнюю бутылку и навалился спиной на Аграфену.

– Давай споем-ка, Груня, а?

– Ну, нам ещё вот песен не хватало, – сказала Груня, отталкивая мужа. – Зверей всех распугать.

– А на хрена нам счас они?

Голова Прокопия опустилась на манатки, и распаренная, обомлевшая тайга услышала стон: «Меня мальчонкой встретила на пересыльной и стеблем розы мне по горлу провела!...»

Аграфена вздрогнула и резко повернулась к мужу.

– Испёкся всё-таки, гад. А я-то, дура, думаю, чё это мямлить-то он начал? Чё это, думаю, его на песни лагерные потянуло? От жары, ли чё ли? Но! И как, паршивец, умудряется?! – хлопает ладонями себя по коленям. – Только ведь что был ещё нормальный – и на тебе! – готов. Чтоб ты подох, алкоголик проклятушый! Шары-то выпучил свои бессовестные! У-у-у-ух ты!! – крутит около носа Прокопия кулаком. – Найдёшь с тобой за шесть – за семь, пожалуй,

как же! По миру бы не пойти! Отдавай вожжи! Не лучше Кости. Костя – тот хошь честно, не таится, пьёт себе и пьёт, все видят, а эта морда... из рукава сосёт, ли чё ли?

– Возьми, возьми, только не кудахтай, – залепетал Прокопий, с готовностью передавая жене вожжи и глядя при этом на парящего в небе коршуна. – Эх, мать честная, мне бы так... А, от жары, конечно, от чего ж ещё-то... Другая женщина от жалости бы изошлась, приласкала бы, водичкой бы на лоб попрыскала, а тут – как тигра – первым делом хайло до ушей растянуть да обляять...

– Молчи лучше, свинья нескребённая! Я тебе попрыскаю... ружьём-то вот по темячку как приласкаю!

– Ну, ну, одно лишь на уме: чем бы по темячку да поскорее бы похоронить... оно – канешно.

К пасеке подъехали в тишине и безмолвии. Аграфена правит. Прокопий, спрятав голову под брезент и задрав ноги на передок телеги, спит. В тайге начинает смеркаться. А в ложбинах – туман подниматься. Аграфена посматривает сквозь засмиревшую листву деревьев на закат и гадает на хорошую погоду.

– Дожжык, ли чё ли, бы парной. Медок бы, может быть, пошёл бы. Тпрр-р-рр! Куд-да ты! Морду-то напорешь, – останавливает она лошадь. – Вставай, охламон, приехали! Вставай, вставай, кому говорю, а то в избушку не пушшу, запрუსя, будешь с собаками вон под крылечком ночевать... дождёшься.

– Кхе... А?! – откидывая брезент и раздирая опухшие веки, произносит Прокопий.

– О-о-ой, – ворчит Аграфена, – сто лет не видела бы... образина.

– Чё ж ты скандальная-то у меня такая, баба, а? – веселеет Прокопий, почуяв близость медовухи.

Какое-то время спустя слабый ветерок уже разносит по тайге дух разведённого для лошади дымокура, а проснувшееся эхо гонит по увалам и палям её редкое ржание и частый гулкий бум ботоло.

Молочный сумрак в ночь июньскую свернулся.

Ночь в июне – коротенький антракт между минувшим днём и днём грядущим. Только успел закат затянуть за собой на небо бледно-зелёный занавес, как заря, готовя новый выход, уже скручивает его обратно. Её розовый свет прокрадывается сквозь туман, отяжелевший за недолгие сумерки, и делает его похожим на клюквенный морс. Вынырнувшее с востока красное, словно от недосыпания, солнце скоро, приободряясь, желтеет. И вот, туман уже белый. Обогретая земля отталкивает его от себя, изгоняет со стеблей и листьев травы. Наклонись и взгляни под его облако на очищенный и прозрачный, как водица из укромного ключа, воздух. Туман колеблется: вверх ли, вниз ли? – и исчезает прочь в свете дня.

День начался. Зной в следующем акте, а пока – живительная прохлада. Все и всё спешат ею насладиться. Птицы поют и слушают только себя. Минует несколько часов – певцы, попрятавшись неизвестно где, умолкнут. И лишь с поблеклой выси от планирующего на онемевших, будто крыльях, изнывающего от жажды коршуна сквозь раскалённый воздух глухо будет долетать протяжное и тоскливое: пи-и-ить!

Итак, день начался. Он дружелюбно врывается в узенькие оконца заимки. Он солнечным светом напористо переваливается через цветные занавески и, просачиваясь в чёрные щели между исшор-канными половицами, ложится на пол. Каждую секунду его благостного начала – верно или неверно, но разве это важно? – отмечают древние ходики, у которых вместо маятника служит крышечка от баночки из-под майонеза, а гире помощником – маленький сияющий замок сундучный. Лучи скользят по его никелированной поверхности, заглядывая в скважинку для ключа, и тщетно пытаются задержаться на суетной крышечке-маятнике, которая жёлтыми снопами ловко отбрасывает их на стену и самозабвенно исполняет свой долг. В центре избышки на полу стоит дымарь. Из его закопчённого носа извилистой трубочкой выползает дым, стелется по потолку и широкой лентой убегает в открытую дверь. Дымарь занят делом – не впускает в избышку комаров-кровопийцев. На стёклах окон, за занавесками, разгоняя слюдяными крылышками едкий дым, отупело жужжат пауты, повизгивают пчёлы и монотонно гудят стайки всё же проникших с улицы комаров. По углам избышки стоят две кровати, укрытые пологам из марли. Между кроватями – стол. Зелёной шторой, по которой передвигается едва заметно солнечный прямоугольник окна с жиденькой тенью занавески,

отгорожена маленькая кухонка, где стоит печка-буржуйка, а за ней, в закутке, сложены дрова и разное барахло, которому нашлось там место. Над барахлом в углу божница. На божнице одна-одинёшенькая икона. На иконе: на медном блюде – голова Иоанна Крестителя.

Аграфена, в повязанной вместо платка сетке, вошла с улицы и поспешно поставила на стол чугунку, исходящую курчавым паром.

– А-я-яй! Язва, руки-то чуть было не ошпарила... Прокопий! – позвала она и вышла из избушки. Скоро вернулась с крынкой простокваши и чашкой солёных хариусов. – Эй! Ты не помер ли там?

Под пологом тишина.

– Опять, холера бы её... жаришша, видно, будет, – заглядывая в окно над занавеской, продолжала Аграфена. – Всё спалит. И все сожжёт цветочки. Пролил бы небольшенький, а там бы и опять ведро. Дак нет тебе, сушит, сушит, а после уж зарядит – и гноит. Эй! Мужик!

Кровать Прокопия не скрипит, полог не волнуется. Аграфена подошла, подняла край марли, заглянула под полог и сказала:

– Ты чё, смеёшься, а, ли чё ли? Уж, слава Богу, восьмой час. Пока то да сё, шель-шевели, глядишь, и девять. Заспатья совсем хочешь? Сёдня улышек тридцать-то хошь надо просмотреть. Эй, да ты чё, на самом-то деле! – трясёт мужа. – Прокопий, вставай, вставай, я есть буду. Смотрю, совсем уж... это чё же.

Аграфена, не снимая с головы сетку, села за стол и приступила к завтраку. Из-под полога в спустившихся на пятки носках показались ноги. Самого Прокопия не видно, но слышно, как он отчаянно чешется.

– Накусали всё же, собаки. Аграфена!

– Ну? – с полным ртом отозвалась Аграфена, глядя на носки мужа, им же будто бы и отвечая.

– Ты жива ещё, а?.. Вылечи-ка!

– Вот, гамнук, я тебе кружку налила тут. Вечером, хорошо будешь себя вести, может, и две получишь. – Помотав головой, Аграфена добавила: – Только и думат... глаза не успел разодрать...

Откинув марлю, появился Прокопий. Аграфена смотрит на него и морщится, морщится, но смотрит.

– И на кого ж похож ты! – говорит.

– На кокош, – отвечает ей Прокопий. – Мужика, ли чё ли, никогда не видывала.

– Да ты на мужика-то, чё, похож, ли чё ли, обормотина!

– А на кого же?

– На Петькин матрас.

– Хм... гм... ну и голова, не голова, а бомба атомная.

Спал Прокопий одетый – в том, в чём приехал, – теперь лишь натянул на ноги чирки – к столу направился.

Аграфена, бросив в тарелку вилку, быстро и ловко отодвинула кружку с медовухой; торопясь прожевать и стараясь не выронить при этом изо рта, затараторила:

– Э-э, нет, нет, нет, не-е-ет! Иди, поганец, руки вымой да свою рожу сполосни вначале.

– Даша ты! Выдумала тоже... Я чё, в навозе, чёлн, спал! Разве, не помню, об тебя, успел, испачкался...

– Иди, иди, а то и этого вот не получишь. Вон, за окошко, выплесну – и баста.

– Ет... твою... культура, тоже мне, нашлась! Сама-то расселась за столом... как татарин... Сетки не можешь скинуть с головы.

– Иди, иди, хошь освежись... смотреть тошно.

– Не смотри, не на смотринах, – сказал Прокопий и вышел на улицу.

Понеслись вскоре по утреннему лесу звяканье ковшика о рукомойник, плеск воды и фыркание. Застрекотала где-то сорока, а из избушки слышался приглушённый голос Аграфены:

– Прокопий.

– Ого?!

– Давай-ка закроем ямку.

– Чего, чего?! Ты там прожуй сначала, картошку-то проглоти, а то: мям-мям-мям
– и хрен поймёшь – чё!

– Я говорю, давай закроем ямку тёсом, а сверху – шифером, что на избушку новую-то привезли. Не дай Бог, прикатят. А?!

Прокопий молчит. Вытерся висящим на колу и служащим вместо полотенца грязно-белым пчеловодческим халатом. Только после этого, войдя в избушку, усевшись за стол и опорожнив кружку, ответил вопросом:

– Это чего тебе вдруг взбрендило?

– А у тебя душа ни о чём не болит. Знашь только гадось эту лакать, тут уж тебя упрашивать не надо, пил бы да пил, а там хошь трава не родись. А еслив приедут?

– Да и в рот им, баба, шаньгу! Пусть едут!

– Ну, смотри...

– А чё смотреть-то! Дура ты, ли чё ли? Там же ведь, в вошь-мать, н-не одна доска и н-не щепки, а плахи, а они ведь не выболели, не исхудали... Потаскай-ка их,

иди, попробуй. И шиферу – того не один листик. А если перекладывать, то уж все. Н-не разложишь же на кучки. Увидят, скажут, ага, чё, мол, а не себе ли отложили?! Никакого соображенья у человека. Говоришь, а чё говоришь? Языком лишь бы зудить. Домой-то в этот раз думаешь, нет ли, пару фляг везти?

– Ну. Врачу-то надо да и...

– Так и чё? Опять всё с ямки перетаскивать назад?.. Ты покумекай!

– Скажи, что лишний раз пальцем лень пошевелить.

– Ну, прямо-ёшь-твою-в-вошь-мать! Лень! Лень! Да ты пошто така-то, баба, а?! Ну не баба, а шипичка. Хошь бы поесть дала спокойно... Лень-то тут при чём? Котелком нужно варить. – Прокопий постучал себя по лбу вилкой. – Наоборот ещё всё надо по... как тебе бы объяснить?.., по... ещё и ямку приоткрыть – вон она, дескать, лезь, кому охота, смотри, а я, мол, не боюсь... так, поспокойней чтобы, но...

– А, ну тебя, и слушать тошно. Легче с печкой вон договориться. Пойду дымарь вон лучше разводить.

– Ступай, ступай, давно бы так... Э-э-эй, Аграфена, ещё бы кружечку дала! С одной-то и не наработаешь.

– Ага! А эт-то вот н-не видел! – ответила Аграфена мужу, сунув к носу его кукиш.

Прокопий отмахнулся от кукиша вилкой и просить больше не стал. Его отступчивость показалась Аграфене подозрительной. Знает Аграфена, что коли уж захотел Прокопий выпить, то всю душеньку вымотает, землю сквозь туда-сюда пророеет, но своего добьётся. Идёт Аграфена за зелёную штору и осматривает стоящие в самом углу, за дровами, фляги с медовухой. Дёргает за замки – целы те. Наклоняется ниже и близоруко щурится. Печати (неизвестные Прокопию) – приклеенные воском волоски – не потревожены. Аграфена успокаивается.

– Я уж, грешным делом, подумала, ключик подобрал или гвоздём как наловчился... Тут на тебя лени не накатишь, гору раскидашь, – сказала так и как

бы в простодушии добавила: – А замочки-то вроде в порядке.

– Иди, иди, коли пошла... разводи дымарь. Нужны мне твои замочки. Отродясь не лазил под замки. Иди. Иди. Уж обогрело.

– Ты тоже очень-то тут не рассиживайся.

– Ты дай поесть-то мне хошь толком. Не на гулянку, наверное, собираюсь.

– Будешь уходить, стол от мух хошь полотенцем вон прикрой.

– Шуруй, шуруй. Прикрою. А то в ушах уж от тебя звенит.

Спустя два часа уже припекает. И крепко-крепко припекает. Небо безоблачно. Листья на берёзах не шелохнутся. На осинах – дрожат от восходящих потоков нагретого воздуха. Над пасекой повис пчелиный гуд.

Со свободным от сетки лицом через сдвинутые на кончик носа, который у него, как говорит Аграфена, рос на семерых, а одному ему достался, очки Прокопий рассматривает, повернув её к солнцу, рамку. Аграфена дымит из дымаря в раскрытый улей. Оба в белых халатах.

– Обезматил он... ли чё ли? – бормочет Прокопий.

– Недолжён.

– Знаю, что не должён.

– А чё тако?

– Не червит.

– Где при облёте, может быть, погибла? – предполагает Аграфена. – Мало ли... сглотнула, может, птичка?

– Всё мо-о-о... а, нет, есть! Вон, в самом углу. Видишь?

– Где? Да я кого там без очков-то!

– Ну, слепошарая... да вон же!

– А-а, ну-ну, вижу...

– Да ты куда?! Халат-то мне спалишь! Спишь? А? Сюда вот... видишь, где лезут, туда и дыми.

– Туда и дымлю.

Аграфена шустрее заработала дымарём, но через минуту, то ли устав, то ли забывшись, снова начала дымить кое-как и куда попало.

– Слышишь? – спросила она.

– Кого?

– Коршун пить просит.

– Напои.

– К дождю... Не растаскал бы куриц дома-всё и кружал над нашим домом. Заиграются – обо всём на свете позабудут. Из речки, наверное, не вылазят, обормоты... Ой, Маньку бы с Юркой не додумались там в воду заташшить, а то утопят... тьфу, тьфу, тьфу. А вон и галки по земле ходят, точно польёт...

– Бабы сказки, стоишь тут, рассказывать.

– Чё бабы-то? Приметы. И сам же всё так говоришь. Или это когда они на деревьях виснут?.. И Полкан утром траву шшыпал. Скажешь, тоже, чё ли, сказки? Всё к одному.

– Жрать захотел, вот и шшыпал, или глисты совсем замучили.

– Да я его кормила.

– А яво хошь закорми. Не кобель, а объедало.

– Взял бы да убил, еслив не нравится.

– Пусь хошь до осени-то доживёт, а то в ём мало чё поймёшь счас.

– А трубка шипит?

– Пока в кармане – нет, закурю – зашипит. А пойти ему, дак он и без трубки моей направится. Баба.

– О-о.

– Вот откусить бы проволоку тут... Сходи-ка за кусачками. Ай, да я сам. Тебя дождёшься разве.

– Ох, олень, а не мужик.

– Дыми, дыми, то пчёлы лезут вон.

Прокопий поставил в улей рамку, снял очки, спрятал их в карман халата и расторопно побежал к избушке. Вступив в неё, схватил он с подоконника кусачки и поспешил с ними за штору. Чтобы было светлее, завернул её Прокопий и опустился на колени перед флягой. Кусачками с противоположной от замка стороны он вытянул удерживающую крышку заклёпку, которую распили надвое еще перед последним отъездом домой, и открыл посудину. Наклонил её – и приложился. Утолив жажду, закрыл осторожно крышку, вставил на место заклёпку и осмотрел внимательно Аграфенину печать. В порядке вроде. Прокопий поднялся, опустил штору, вышел из избушки и уж неторопно пошёл на пасеку.

– Ну и скор, ну и быстёр... сквозняк и только. Тебя, парень, за смертью посылать.

– Сама за нею сходишь. Хей, мать честная, я же опять и виноват! Послушайте-ка вы её. Вечно сунут чё куда попало, а после их ищи-свищи, – сказал Прокопий, доставая из кармана очки и кусачки.

– Да всё вроде на подоконнике лежали. И сёдня там их, кажется, я видела?

– А когда кажется, крестись... На подоконнике! Может, когда-то и лежали! Сёдня! Кое-как уж под кроватью – вон где! – отыскал. Видишь, коленки все испачкал. Сё-ё-одня – ну уж.

– Под кроватью?! Как они там очудились?

– Вот уж не знаю. У тебя спросить надо.

– Витька, разве что, забросил?

– Вам с Витькой чё – куда угодно зашвырнёте. Что ты, что он, что вся порода ваша Чекуновская... безмозглые, как гайки.

– Ты бы уж помалкивал. Сам-то пим от валенка не отличишь, туда же.

– Ох, не скажи уж, не скажи!

– Как есть, так и говорю.

– Ну ладно, ладно.

По лицу Аграфены, как по стеклу оконному испарина, течёт пот. Халат на спине у неё взмок. Руки слегка припухли от пчелиных укусов. Аграфена успокоилась уже. Обида, если и была, растаяла. Как чайник с кипятком на печке, так и Аграфена: жар есть – вскипит, ослабнет жар – утихомирится.

– Прокопий!

– Чего?

– А помощник-то Вилкина, чё, правда, чё ли, бабу свою зарубил?

– Правда, раз посадили.

– Совсем свихнулись уж... А комнат-то сколько?

– Где? В тюрьме?

– Да почему в тюрьме!.. А в доме-то, Огурчиков купил который.

– Не знаю, баба, не считал.

– Может, кто говорил? Ну, за две-то десять тыщ не запросили бы. Да кто б и дал. Скорей всего, с кирпичным низом. И колонка, небось, в ограде, не у чёрта на куличках, и огородчик под боком, и... – и забурлила, заискрилась, заиграла всеми цветами радуги бабья фантазия, вознеслись в небо этажи и чердаки, устремились в глубь земли подвалы, расползлись многогектарные садики, заходили туда-сюда завистливые горожане – фу, как жарко! – потекли на сберегательную книжку денежки.

– Ты дыми, дыми, болтай поменьше, а то кондрашка ещё хватит. Поживём – увидим. Ишь, размечталась. Пока сидим ещё в Ялани. Зонтик, дура, купила зачем-то!

– Я же не ношу его, лежит пока.

– Ты дыми... Схожу-к я за ножом. Этим-то ничего не сделаешь – задницей хошь на него садись – ту-пушшый.

– Кто ж виноват, я же точить его не буду.

– Не будешь. Знаю, что не будешь.

Прокопий ушёл, оставив Аграфену поверять свои благие мечтания пчёлам. Когда он вернулся, она уже сняла крышку со следующего улья.

– Я уж думала, тебя волки, парень, там задрали.

– С тобой задерут когда-нибудь.

– Чё опять?.. И ножик, чё ли, под кроватью?

– Ты мне утром какую медовуху давала?

– А ты чё, уже не помнишь?

– Из левой фляги, спрашиваю я, или из правой?

– Из ле... из... из... это какая?.., из левой вроде бы... а чё?

– Так и подумал я. Да я в неё ещё немного добавлял дрожжей... чтоб для гостей каких... Брюхо моё таку не переносит, баба.

– Дак чё тако-то?

– Пронесло, вот чё тако! Как от тифа, ещё пуще.

Аграфена принялась пытаться мужа взглядом, стараясь поймать его взор. Взор Прокопия неуловим.

– Чё пялишься? Удостовериться желашь? Пойдём – проверишь.

– Да шибко надо мне ходить. Пронесло... Пить меньше надо, и проносить тогда не будет. Так и подохнешь где-нибудь когда-нибудь.

– От этого?! – повеселел Прокопий разом.

– А от чего? Конечно, от этого.

– Не смейся-ка меня, баба. Ты хошь одного мужика в Ялани назови мне... или в мире... от медовухи бы который помер.

– Да мало ли.

– Ну, кто?

– Ну... А Серафим-то Дураков.

– Ха-ха-ха, ой-йе-ёй, ух-ху-ху! Ты хрен-то... ха-ха-ха... не путай хрен-то, баба, с редькой. Серафим, покойничек, от водки сгорел. Ха-ха. Ну, спасибо тебе, насмешила, а то всё как-то... – глаза отёр Прокопий рукавом. – Ты, от медовухи-то чтоб, вспомни.

– Сразу-то так придёт разве на ум.

– А хошь всю жизнь тут вспоминай, хошь мозги выверни. А не помнишь, дак и не болтай зря. С медовухи не помирают, уясни это себе... на носу вон заруби. С неё, баба, жор находит, сила дикая приливает да на девок шибко глядеть тянет...

– О-о-о-о-о-ой, горе-то мне тоже...

– Особенно на грудастых, чтоб и в прыску, и кровь чтоб с молоком, как вон... – сказал так Прокопий и поспешил переменить тему: – Последний улей вот проверим да и обедать... Пчела сердиться уже начинает. Часика два-три, самое-то пекло, обождать надо, пока успокоятся.

Скоро, легко перекусив и закинув полога, они улеглись подремать.

В то время как Прокопий спокойно уснул, Аграфена бесшумно поднялась с кровати и направилась за зелёную штору. Ну а чуть позже чутко спавший Прокопий, едва приоткрыв один глаз, видел, как вышла она оттуда, пожимая плечами и скривив лицо недоуменно.

Солнце на второй половине дня. Его лучи падают круто и освещают в избушке лишь подоконники. Пахнет нагретым деревом и подплавленным воском. Душно. Пчеловоды, переговариваясь, собираются на работу.

– Ты иди, Аграфена, снимай пока крышку с голубого... не с того вон, что тяжёлый-то, а с того, что у привойки дальней. Обдыми. А я живенько в тенёчке тут вот рамки две-три навощу и буду.

Аграфена, натянув халат и сетку, захватив с собой дымарь, удаляется. Прокопий провожает её взглядом через оконце, а проводив, забегают за штору. Выходит Прокопий оттуда с улыбкой, посвящённой, вероятно, хитрости своей, поправляет штору, затем, навощив наскоро рамки, влезает в халат и бежит к Аграфене, не заботясь о том, что на губах его перга осталась.

Теперь, несмотря на знойную глухоту, близко не подходи – за версту слышно:

– До каких же пор я буду с тобой мучиться-то!

– До разводу, баба, до разводу. А для разводу у тебя кишка тонка. Тогда, наверно, до могилы, милая. Вот умру...

– Чёрт и подсунул же... цирлу-манырлу! Рамку-то, чума ты пьяная, не сомни... Свалился же на мою голову... мурлетка! Да ты куда её?! Сломашь же!

– Да не сломаю, не сломаю-я же не ломом... Тебя с яиц будто согнали... Клох-клох-клох... Лапы не суй свои культяпистые – я их стамеской-то счас жамкну. Говорю же, не сломаю. Чё, я совсем уж пахорукий? – пытаюсь вставить рамку на место в улей, бормочет Прокопий. – Какого ж хрена замуж шла, если мурлетка я и цирла-то-манырла?..

– Знатьё бы наперёд, дак не то что замуж, а и рядом-то где стать, дак за срам бы посчитала. Ну-ка, дай, сама поставлю. Своротишь улей-то! Ты посмотри-ка, а! Ну не наказание ли? Взяла бы Витьку, а не этого-то паразита, и горя бы не знала. И того лихорадка, как на грех, куда-то унесла... Ух, сова в очках!

– Сама ты сова. Лягуша. Раздрона. Корова барова. Кобыла. Жеребец. Сенокосилка чекуновская... Дура яланская. Пойду-ка я лучше пасеку обкашивать. С тобой, девка, до худого тут договоришься и нервишки все истреплешь.

– Порося несчастная, проваливай! Всё равно толку никакого!

– Ну, не баба у меня, а створки кобыльи... не закрываются ни днём, ни ночью.

– Я тебе покажу – створки!

– Насмотрелся уж. Покажи лучше, где литовка лежит.

– Сам прошлый раз брал. Где бросил, там и ищи. Буду я ещё ходить и тебя носом куда тычить.

– Не тычь – не котёнок. Не шуми – пчёлы свихнутся. Скажут, хозяйка чокнулась, и нам пора. Пошёл я. И ты, Грунька, – эх, в вошь-мать! – как совсем невтерпёж станет, бросай всё к лешему, задирай подолишко – и бегом ко мне... за улей только не запнись.

– Цить ты, кобель! Очки-то отдай! – и сорвала с его носа очки Аграфена.

– Ой-ой! – попятился Прокопий от неё. – Глазишшы-то – как у сохатого в течку... такому, брат, не попадайся: копытом треснет – и убьёт.

– Убирайся, убирайся. Уматывай, покамест рамку-то тебе по роже твоей поганой не размазала!.. И рамку вон не пожалею!

Сетуя, что без очков кого же он накосит, мол, что без очков не отличит тальник он от травы, и бормоча ещё что-то по поводу неудавшейся своей семейной жизни, Прокопий покинул Аграфену. Но ещё долго сквозь пчелиное гудение до слуха Аграфены долетали куплеты различных песен и частушек, а она, Аграфена, громко ругаясь, ещё долго плевалась в ту сторону, откуда песни эти доносились.

– Извело тебя бы, песенник ты ненасытный, зудом, порчей бы тебя со всех сторон погрызло, брюхо лопнуло твоё бы с грохотом, захлебнулся бы ты, свинья, в своей рыготине, рот бы твой поганный сросся наглухо, ковылял бы ты, пьяный, по мосту, а мост бы рухнул, лёг бы спать ты, губошлёп, и не проснулся, дрова колол бы – и отсёк себе башку бы, шёл бы по льду – и...

И чего только не наговоришь в гневе.

Вечерело. Большое оранжевое солнце, будто лупой увеличенное, готовилось скрыться за лесом. Из ложбин потянуло приятной прохладой. По влажнеющему воздуху стали медленно, крадучись словно, распространяться пьянящие запахи смолистой тайги. Заметно ослаб пчелиный звон. А вороны и галки, слетевшись к пасеке со всей округи, затеяли бой за место на самой удобной для ночлега берёзе.

Аграфена, уставшая, в Прокопьевых, не по глазам, очках, просматривала последний на сегодня улей. В её занятое работой внимание проникло вдруг знакомое мягкое тарахтение. Звук «газика» уж ни с каким другим она не путает.

«Рыбаки?.. Не может быть – ещё не пятница, – подумала Аграфена. – А уж не эти ль, не дай Бог?!»

В недобрых предчувствиях она поспешно закрыла крышкой недосмотренный улей, бросила на траву дымарь и, сдёрнув с переносицы очки, помчалась разыскивать мужа.

– Ох, Господи!.. не приведи. Ну, не дурак ли старый, а?.. Ямку раскрыть! – и догадался же. Совсем уж, точно, из ума выжился... Подозренья чтобы не было. Ещё бы выставил куда наружу фляги! – дескать, пожалуста, смотрите – я не боюсь – вода там. Ой, дурень дурнем. А у них и все такие: и мать его полоротая была, и отец – того маленько, чуть как пришибленный, и Петька наш какой-то экий, и Нинка в ихню родову – все умишко в горстке носят... ага, покамест не просыпят, потом – уж вовсе... Ну, теперь отпчеловодились. Прошшайте, пчѐ-ѐ-лочки, ма-аточки, прошшайте, трутенѐ-ѐчки, прош-шай, и домик в городе, еслив всё так-то – с кофискацией... Отведи беду такую, Боже... Да где же этот-то пропойца?

Среди валков свежескошенной дубровы валяется литовка. Других следов Прокопия нет.

– И в самом деле, что ли, извело? Прости меня...

И заметила наконец Аграфена под ольхой, в ворохе увядшей уже травы, просветы белого халата. Резво уж очень для своей тучности, перескакивая через высокие валки, подбежала она к вороху и, прикинув на глаз нужное место под халатом, стала пинать в него ногами, словно в ворохе том и не муж её вовсе, а гад какой ползучий затаился, свинья ли спряталась соседская.

– Ну, чё, дождался, паразит! Вот и возьми! Ты этого хотел?! Сам и расхлёбывай теперь. Нет ведь – заложили бы досками да шифером – и похаживам себе спокойненько. Вот, чё к чему, теперь и объясняй им.

Прокопий, разбуженный пинками и криками жены, выскочил из травы и красными от сна глазами бестолково уставился на Аграфену, затем, испуганно от неё защищаясь, стал оглядываться по сторонам, ничего особенного там не замечая.

А Аграфена продолжала и лягать его, тем временем, и кулаками тыкать ему в грудь.

– Чё ты теперь им будешь говорить?!

– Вместо пчелы тебя це-це какая, чё ли, укусила?! – вскричал Прокопий. И видно было, что он так ещё и не проснулся, иначе бы убежал, схватил бы Аграфену за руки, стукнул бы её, в конце-концов, по голове, словом, что-нибудь бы да предпринял, а не отмахивался бы от неё, как от наваждения, чем, кстати, и успевала пользоваться Аграфена. – Муха тебя какая, что ли, цапанула?!

– Муха! «Бобик» едет! Муха. Скорей давай!.. Фу, пропасть, так бы и зашибла!

– Куда скорей? Куда скорей-то?! Откуда, дура, сорвалась...

– Да, говорю же тебе, «Бобик»! – Аграфена шлёпнула Прокопия по лбу. – Я говорю же ему: «Бо-о-оби-ик!»

– Бо-обик? – и перестал Прокопий от шлепка моргать.

– «Бобик»! Начальство едет. Понял, нет?

– Бобик. Вот дура: Бо-о-обик... «Бо-о-би-ик»?

И пришёл в себя Прокопий, побежал следом за женой к покинутому ею улью.

Отдышавшись, они едва успели принять устало-деловой вид, как из-за косогора прямо к избушке выкатился запылённый ГАЗ-69. Из машины воробьём выпорхнул шофёр, так расторопно выпорхнул, что поневоле показалось, будто он всю дорогу только что и думал, как бы скорее остановиться и исполнить все это: попинать колеса, постучать по капоту, поприседать да, подтянув брюки и упершись одной рукой в землю, позаглядывать на мост возлюбленной машины.

– Смотри-ка ты – шофёрник новенький. Правда, значит, что Бурмакина за пьянку выгнали. Сами спаивают, а потом – как неугоден...

– Не твоё дело.

– Кого же он привёз?

– Корову. Ты по дурости-то своей – ходить мимо ямки будешь – не пялься на неё, как на покойника с удилишшем.

– Я не в своём уме, ли чё ли.

– В том-то и горе, что в своём, чекуновском.

– Вы уж, треклятовские, ну такие умники, такие умники, ну уж не знаю...

– Потому и не знашь.

– Почему?

– Да дура потому что.

Из «Бобика», придерживая рукой выгоревшую на солнце от долгой, вероятно, носки суконную кепку-восьмиклинку, выскочил шустрый пассажир вхромочах, смятых пижонисто в «гармошку», над которыми нависли широкие брюки.

Пассажир в пиджачке с короткими рукавами. Кто старше? – пиджак или пассажир – догадаться трудно – оба рыжие – один от времени, другой от природы. Пассажиру лет сорок пять. А точно такой же пиджачок можно увидеть на снимке любого яланского деда, сделанном в елисейском фотоателье «Наперекор Времени» или в «Полярном фотофокусе» ещё в довоенный период.

– Инструктор.

– Вижу. Закрывай улей. Встречать надо.

– Всё в своём поддергайчике, скупердяй. Наверно, ещё прадедовский донашивают. Траву-то вынь хошь из волос, а то как леший... чистый леший... Смотри-ка! Сам пожаловал, – с крышкой от улья в руках замерла Аграфена.

– Да закрывай ты, закрывай. Тебя чё, парализовало? – зашипел на неё Прокопий.

Покачиваясь, машина выпустила из себя директора и приподнялась на рессорах. Директор, не в пример инструктору, объёмист. Голова его, как поплавок в воде, частично потонула в шее. На голове, несмотря на жару, подогнув уши хозяину, плотно сидит фетровая шляпа. В крупную клетку пара, сшитая на заказ в елисейском пошивочном ателье «В ногу с модой». Пиджак застёгнут на одну, среднюю, пуговицу. Из нагрудного карманчика, поблескивая на заходящем солнце и обличая владельца в интеллигентности, выглядывает частокол золотистых и серебристых авторучек. На лацкане – скромный значок «Депутат районного совета». Узкие брюки складками улеглись на остроносые, серые от пыли, приобретённые в Сочи, на другом ли каком кавказском курорте, туфли. Красивые туфли. Директор одних лет с инструктором.

Пчеловоды закончили работу, уложили инструменты под навес – с собой дымарь лишь захватили – и, сквозь зубы наставляя друг дружку, направились гостям навстречу, издалека – приятно так удивлены как будто – улыбаясь.

– Ой, ну и выфрантился-то... пузатый бабник, – в улыбке процедила тихо Аграфена. – При шляпе, что ты. Лысину всё прячет. А тут, в лесу-то, от кого?

– От тебя. Заткнись, – уголком рта приказал ей Прокопий.

С директором, Иваном Сергеевичем, и инструктором, Егором Антоновичем, пчеловоды поздоровались об руку, шофёру – и кивка тому хватило.

– Ну, как дела, труженики? – спросил и приветливо улыбнулся Иван Сергеевич.

– Да, слава Богу, помалешку. А мы слышим с Аграфеной, будто машина, ли чё ли, где гудит, а и невдомёк, что к нам. Думаю, рыбаки каки или деологи.

– Да вот, решили – время выбрали – вас попроведать. Пчела-то как, готова, нет, к сезону?

– Пчела готова. Всё нормально. Дело за погодой.

– Будем надеяться, не подведёт. Прогнозы пока что самые благоприятные.

– Медведь бы им верил, этим прогнозам. Тут как-то сижу, за окном ливень, а Елисейск – «без осадок» – передаёт.

– И то верно. У них такое сплошь и рядом, – сказал директор и осмотрел ненавязчиво Прокопия: левым глазом – его переносицу, правым – скоренько обежал с ног до головы.

Прокопий давно знает этот директорский фокус, однако всякий раз робеет, пока не сориентируется, где у начальства левый глаз, а где – правый. Но сообразив, уверенно уже следит только за тем, который попроворней. Поэтому, себя окинув машинально взглядом и обнаружив на своих халате и штанах прицепившиеся к ним стебельки и листья, Прокопий как бы поправил возможные предположения директора, уже изучающего меняющуюся в лице Аграфену:

– Кхе-кхе... Траву таскал... кобыле... это... жрёт – не стихат, – предупредил возможные предположения директора Прокопий и смутился почему-то. – А пчела-то чё? Чего пчеле-то? Погода бы – и... Да чё стоим-то мы? Идёмте в избу.

– А со здоровьишком как, Аграфена Батюшков-на? – спрашивает интеллигентный Иван Сергеевич.

– Да пока что, слава Богу, Иван Сергеич. Вы проходите, пожалуйста. Проходите. Только не обессудьте уж, прибратся некогда в избушке. С утра до вечера... всё эвон, – Аграфена кивнула в сторону пасеки, – и посидеть нет времени. Придёшь оттуда – ноги гудят. День-деньской на них ведь топчешься – не до уборки. До кровати доползёшь – и... Не испугайтесь уж в избушке-то.

– Ну, Аграф-фена Батюшковна! Не разговор – такое дело! Не на бал-маскарад приехали. Не вельможи, понимаешь ли, какие. Докурим вот, и зайдём... да... вот, чтоб не дымить в избушке лишний раз, – стал успокаивать директор, но как-то так, рассеянно, пытаясь, может быть, представить ползущую до кровати Аграф-фену Батюшковну.

– Ничё, ничё, в избе докурите! Прокопий вон без трубки не сидит, так я привыкла. Проходите, проходите. Тут-то комар заест. Я счас тайменчика принесу, сижка и харюзков достану из ям... – осеклась Аграфена, глазами сверкнула сначала на ямку, а затем – на мужа, которого забил вдруг сильный кашель. – Из ямшаника... недолго, – не мозг, скорее, а язык сработал Аграфенин.

– Кхе-кхе... И где прохватило? Вроде тепло, – засокрушался Прокопий. – Давай, давай, ступай в ямшаник, Аграфена, да поживей налаживай на стол. Люди с дороги, проголодались. Идёмте, Иван Сергеич. Егор Антоныч! Заходи, – к шофёру обратился пчеловод.

Утро застало Ивана Сергеевича на одной кровати, Егора Антоновича – на другой; шофёра, от назойливых комаров натянувшего на голову чей-то драный свитер, – у стола, прямо на полу, среди рыбных костей и окурков; а Прокопия и Аграфену – около порога, вдвоём на одном узком матрасе. Она ворочается – вот-вот проснётся. Он в крепком сне мотает головой, глотая дым от стоящего с ним рядом дыма.

Морок был – его прогнало. День разгулялся. Солнце уже далеко оторвалось от сопки. Аграфена, подтянув гирю с замочком, ткнув пальцем крышечку-маятник и справившись у Ивана Сергеевича о времени, подвела стрелки ходиков. И ходики радостно приступили к исполнению своего долга.

Опохмелившись на третьем стаканчике, директор поднялся с табуретки и сказал:

– Сидеть-дело хорошее, конечно, но надо и ехать, честь, как говорится, знать. Да, Егор Антоныч? Как ты?

– Пора, пора, – отозвался тот. – К Вилкину, ребята, заглянуть хотелось бы. Кто знает, как там у него? Может, сахар кончился, может, ещё что? В зиму-то он, знаю, слабых оставлял. Прокопий, ты не в курсе, мы в Мокрую проедем?

– А чё нет-то – запросто. Сушь така стоит. Хошь на боку катись везде, и в Мокрой...

– Ну и ладненько.

На улицу все вышли. Там разговор:

– Аграфена, положи-ка Ивану Сергеичу медку в сотах... Из старых рам. Антоныч, ты уж извиняй, тебе не предлагаю – у тебя своих – не тридцать ли улышек? А вы, Иван Сергеич, хошь детишек обрадуете, им же ведь тока дай, на сладось-то охочи.

– Да куда я с ним?..

– А вам чё, на себе не ташшить! В машину где его приткнул, ведро-то, и стой оно там.

– Ну, уж разве ребятишкам, – сдаваться стал Иван Сергеевич.

– А то кому, – помог ему Прокопий.

– Ну, спасибо, коли так. Ведёрочко-то я вам с кем потом отправлю, сам ли, может, как-нибудь заброшу, – сказал Иван Сергеевич и глянул на подошедшую с ведром сотового мёда Аграфену.

– Да шут с ём, с ведёрочком, не велика утрата, ес-лив и не завезёте, – объявил Прокопий.

– А здорово вчера мы.

– Да, нормально. Ха-ха-ха.

Ведро с мёдом поставили в машину. Попрощались гости и уехали.

– Любовницам ведь раздаст, кривой чёрт. Есть ему до ребятишек дело.

– А тебе кака разница, кто съест-то... тьфу ты!

– Не тьфукай. Целое ведро!

– А раз отдали, дак уж чё.

– Пузан.

– Точь как ты.

– Я – баба, я вон сколь детей нарожала, мне положено.

– Ты – баба, а он – директор... тоже положено.

– Директор! Ты думать, прошлым августом-то он пошто здесь всё палкал?

– Ничё не думаю. И думать не хочу.

– А-а. Огурчиков с грыжей в больнице, а твой директор с Огурчихой на пасеке...

– Не ври ты.

– Вот и не ври. С чего мне врать, какая прибыль? Он, говорят, уж и лечился.

– От чего? От Огурчихи?

– Отчего...

– Ну, от чего?

– От чего, чего... да от бабона.

– Дура.

– Дура не дура, а точно.

– Точно, что дура.

– На курорте, на какой-то молоденькой подцепил, а теперь на баб тут будет разносить.

– Так вам и надо.

– И Огурчиха соблазнилась же на... ненормальная...

– На что?

– На шаль пуховую.

– Хе... А ты бы не соблазнилась?

– Нашёл дуру. У меня, чё, шали нет, ли чё ли! Да и...

– Ладно, пошли, а то тут будешь...

Проверив пасеку и сделав всё необходимое, запланированное на этот приезд, через два дня после отъезда гостей, под вечер, пчеловоды собирались домой.

– Эх-х, в-вошь-твою-в-гренку! Ну, дура баба – всё тут! Ну скажи, пожалуйста, не бестолочь ли! И когда успела? Вроде всё на глазах тогда вертелась. Давай,

давай ослобождай. Я не таскал.

– Да уберу, не беспокойся! Чё ты разнылся-то, как баба, сёдня!

– Вот и убирай. Дура, дура и ещё раз дура и после этого – один хрен дура, дурой была и помрёшь дурой.

Махнув рукой, ушёл Прокопий за травой, которую собирался положить для удобства на телегу, а кроме этого, на всякий случай непредвиденный, и замаскировать ею фляги от посторонних глаз. Накосив, вернулся он с большой охапкой влажной дубровы. Разложив её на телеге, Прокопий удалился вторично. На этот раз несёт он вдвое больше. Лицо его закрыто травой, и он, мелко ногами семена от тяжести, бежит наугад. Метрах в пяти от телеги Прокопий цепляется ногой за мешок с воском, оставленный Аграфеной, и падает, зарывшись в зелень. От злости фыркая, Прокопий вскакивает и, выбрав самые чёрные слова, вспоминает ими Аграфену и всю родовую чекуновскую. Собрав траву, бросает её подле телеги и, видимо, немного поостыв, говорит:

– Вечно разбрасает всё где попало. Ни проехать, ни пройти, чтоб не запнуться.

– Балалайкой своей по сторонам вертеть поменьше надо – и запинаться не будешь.

– Цу-цу, ну, умница какая! Я тебе чё, фокусник-покусник какой – через траву-то чтобы видеть. Ума палата полная... не эта, правда, на плечах-то что, а нижняя.

Аграфена молчит. Высунув и прикусив язык, она перетаскивает, уперев в живот, несколько листов шифера с погребка на прежнее место.

– Не рви! Пуп развяжется.

– Н-не б-бойсь.

– А мне-то.

Прокопий сидит удобно на мягкой траве в телеге и, раскуривая трубку, наблюдает за работающей женой, а заодно поглядывает и на горизонт. Горизонт

мрачен. Багряное зарево вырывается из-за туч. Веет тёплый, порывистый ветерок, срывая с Прокопьевой трубки дым. В тайге темнеет. Прокопий, обмозговав все приметы, думает, что ночью польёт дождь, и дождь немелконький, похоже, а поэтому с отъездом следует поторопиться.

Так решив, он спрыгнул с телеги, выбил об чурку трубку, спрятал трубку в карман и направился к Аграфене, кряхтя поднимающей с ямки последние сосновые доски из последнего ряда.

– Не корячься.

– Поздно пожалел.

– Чё, пуп уж, чё ли, развязался?

– Когда стаскала всё, явился.

– А я же их сюда не приносил – так, баба, нет? Давай бери с той стороны вон.

Освободив погребок, они спустились в него и с великими мучениями, а Прокопий – тот и с матюками, вытащили наверх одну за другой две полные мёдом фляги.

– А эту сразу на телегу.

– Да дай, Господи, дух-то хошь перевести... ой... с ума сойти... ох, тошно мне.

– Заумирала, мать честная.

Передохнув, считая до трёх, с криком – оппа! – они поставили фляги на телегу. Прокопий замаскировал их травой, сверху накрыл ещё брезентом и ушёл за кобылой, привязанной у дымокура. Аграфена уложила на воз всё приготовленное. Стоит рядом и напряжённо о чём-то думает.

– Чё-то забыла? – произносит вслух. – Свербит вот на краю ума, а чё, никак не вспомню.

– Дома вспомнишь, – шутит Прокопий, заводя кобылу в оглобли.

– А-а.

– Чего «а-а»?

– Да ничего.

Ответила так Аграфена и пошла быстрым шагом в избушку. В избушке достала она из печурки спички, скрылась за шторой и, осветив, осмотрела замки и печати на флягах. Выйдя на крыльцо, обратилась к Прокопию:

– Слышишь!

– Ага, – отозвался тот. – Пока ещё что не оглох. Орать так будешь, дак оглохну.

– Я там тебе налила кастрюлю медовухи – на всякий случай. Под дровами. Коричневая, с зелёной крышкой. В следушый раз с Витькой поедешь, да, смотри мне, не вздумай спаивать парнишку тут, ума-то хватит.

– Кастрюлю?!

– Кастрюлю.

– Да ты чё, баба?!

– Ачё?

– Ну ни хрена. Кого это! Кастрюля. Смеёшься, чё ли?

– Обойдёшься. Ты бы и озеро выпил. В ней ведь почти что два ведра. Да два и будет.

– Ага, маленьких. А еслив кто заедет, чё, канпотом потчевать прикажешь?

– Всем достанется – не до усёру-то... Можно и без выпивки хошь раз-то... посидеть, поговорить, а то бы всё шары и заливали, шары зальют – и свиньи свиньями...

– Да мы же не бабы! Чудная ты: поговорить!.. Дай от замочков твоих ключики.

– А сто рублей тебе не надо!

Прокопий не настаивает.

И вот лошадь запряжена, собаки, повизгивая и повиливая хвостами, прыгают перед ней. Прокопий уже сидит на мягком возу, готовый стегнуть лошадь, и только ждёт жену, заливающую в плите, что на летней кухне, огонь. Загасив тлеющие головни, Аграфена ставит пустое ведро на плиту, из которой клубится пар, и идёт к телеге.

– Как садишься, то и гляди, что оси лопнут.

– Ай, не болтай.

– Ну-у, пошла, милая!

Домой бежит кобыла весело. Полкан с важным видом проводника стрижёт траву впереди, прямо под раскачивающейся в такт ходу мордой лошади. Борзья где-то отстал. Лес замер. Тишина разрушается лишь скрипом тележных колёс. Да изредка налетит едва ли не горячий ветер и, взъерошив вершины деревьев и пошелестев листвой, унесётся прочь.

Прокопий достал кисет, зарядил трубку и закурил. Вспомнил вдруг:

– Хо-хо-хо! В-вошь-твою-гренку... Ха-ха, – и ткнул локтём легонько в спину Аграфену. – Ну как, доски-то лёгкие... и шифер?

Аграфена молчит.

– Дура.

– Умный.

Сверкнула далёкая молния. И только через минуту-другую в тишину, словно клуб дыма в чистый воздух, ввалился глухой раскат грома, медленно прокатился по всему небосклону и постепенно растворился в напряжённом беззвучии.

– Воду Илья повёз куда-то на ночь глядя.

– Захватит?

– Захватит.

– Промочит.

– Не сахарные.

– А ничего, что фляги?

– Чего, фляги?

– Жалезо идь... Не примагнитит?

– Под брезентом не примагнитит.

– А-а, – успокоилась Аграфена, а после продолжительного молчания добавила: – Прокопий, а Быкова-то убило...

– Того у окна, а не на телеге. Ты знашь хошь одного мужика, которого бы на телеге...

– А почему в окне бьёт? Стекло?..

– А хрен бы знал, – честно признался Прокопий.

Несколько минут длится молчание, затем:

– Слышишь.

– Чего?

– Может... может, на фляги-то, мужик, ещё травы подбросить малость?

– Да сиди ты, придурочная, и не вошкайся!

Молнии уже одна за другой по всему юго-западу полосуют темноту, обрываясь за тёмным горизонтом, словно в Преисподней. Эхо замоталось, забегалось, разнося в тишине неумолкаемую громовую переключку. Тайга гудит – куда там растревоженному улью.

– А зверю-то каково счас, а... А зверя бьёт?

Прокопий не отвечает. Прокопий вглядывается в тьму, раздвигаемую то и дело вспышками, пытаясь различить дорогу; не правит – лошадь идёт самостоятельно.

– Темь-то какая.

– А?... Нет, зверя – того не бьёт. – Прокопий только что проснулся словно. – Зверя не бьёт. За что его? А вот болтливых баб – тех прямо по башке колотит... сразу насмерть.

Наступило зловещее затишье. Послышались чёткие, редкие удары по листве, по траве и по брезенту-крупных, похоже, капель. Продолжалось так какие-то секунды. Капли прекратились. Всё замерло – ждёт. И дождалось – навалился мощный шквал жаркого, будто из кузнечного горна вытолкнутого, воздуха, со свистом продирающегося сквозь деревья, словно цель его – сорвать с деревьев всю листву, а где возможно, и стволы переломать. Ну и действительно, лесина затрещала уже где-то, падая.

– Господи, Твоя воля, ох и бедишша-то какая!

Оглушительный треск вспорол, тряпицу словно, атмосферу – ворсистый шнур молнии ослепил едущих, вонзившись поблизости от них, возможно, в

лиственницу. Мрак, как ряска на озерине от брошенного в неё камня, разбежался и тут же, всё покрыв, опять сомкнулся. Глаза ещё долго хранят образ исчезнувшей молнии. Со стороны путь пчеловодов напоминает серию поочерёдно показываемых контрастных снимков: лошадь с задранной мордой – скалит зубы; Полкан, поджав хвост, – прячется под телегу; Аграфена, зажмурившись, – обхватывает голову руками; Прокопий – тот то, как бурундук, застыв пеньком, сидит с зажатой в зубах трубкой, то, запрокинувшись, что-то с бутылкой вытворяет.

Свотопреставление недолго длится. Молнии пишут по небу уже с другой стороны. Гром теперь уже не страшен, не пугает. Ещё некоторое время идёт сильный ливень, не оставляющий на путниках сухой нитки, но скоро и он, выдохшись, слабеет. На западе, на до прозрачности промытом небе, появляются июньские звёзды. Светает.

– Ой, ну спасибо, сохранил, Господи! Кажется, миновало.

– Миновало.

– Не будет вроде пока больше.

– Не каркай.

– Хошь каркай, хошь не каркай, а уж и хватило бы. Счас бы вот, еслив бы ночки-то парные, тепло-то еслив бы, – мечтательно вздохнула Аграфена, – глядишь, медок бы, может, был.

– Эй, типун бы на язык твой.

– Ну а чё? И гнуса будто не бывало. Прямо, дак чё там, красота. И вон кобыла отдохнёт хошь.

Небо очистилось полностью. Земля парит, как после сотворения. Копыта лошади чавкают по грязи.

– С дороги как ещё не сбились?

– Не ты в оглоблях, слава Богу.

– И уж не ты. Ты бы в потёмках, точно уж, привёз обратно к медовухе.

Скоро из-за поворота на фоне зари показались электрические лампочки.

– Приехали, – глядя на них, сказала Аграфена и отыскивала глазами среди деревенских, вроде как сгорбившихся после грозы изб свою: не сгорела ли уж, Боже упаси?

– Мишка загулял, – вслух, с нескрываемой завистью в голосе подумал Прокопий про светильща, забывшего и станцию в загуле заглушить.

– Что без тебя-то, вот уж горе.

Лошадь вывезла своих пассажиров на тракт. В рассветном воздухе видно, как песок налипает на грязные колёса телеги, на дороге от которых остаются чёткие, узкие следы – две параллельные полосы. Утренний восток квадратиками отражают окна мокрых домов, а кругами и эллипсами – только что налитые, вспенившиеся у берегов лужи. Одумавшиеся после грозы собаки перелаиваются. С увлажнённых полян доносится мягкое позвякивание ботла. Кобыла, заслышав его, признав родные места и предчувствуя временную свободу, поприветствовала всех и всё долгим и надрывным ржанием, которое не успело эхом обегать ещё Ялань, как с лугов, укутанных туманом, ей ответили её друзья.

У ворот своего дома Аграфена соскочила с возу, одёрнула на себе скукоженную от дождя юбку и подошла к окну. Прильнув к нему лицом и прикрыв ладонью глаза от восхода, она попыталась всмотреться вовнутрь, но ничего не разглядев через запотевшее стекло, начала стучать.

– Нинка! Витька! Отворяйте! Эй, проснитесь!

В доме заскрипела кровать. Спустя некоторое время, звякая сдёргиваемыми крючьями, вышла из сенцев заспанная девочка и, отталкивая ногой стряхивающих с шерсти воду и ластящихся к ней собак, открыла ворота.

– Привет, соплюха, – сказал весёленький отец.

– Здравствуйте, – ответила девочка.

– Всё в порядке? – спросила у дочери Аграфена и подозрительно покосилась на мужа.

– Всё-ё-ёо, – ответила девочка.

– А я проверю, всё ли, нет ли. Витька дома?

– Нет. Он сёдня вас ещё не ждал.

– Он у меня дождётся, это точно.

Аграфена вошла, а Прокопий, испугав жену, дочь, лошадь, собак и дремавшую до этого Ялань, затянул вдруг что есть мочи: «Ах ты, ноченька, ах-да...» – и въехал во двор.

1978

Серафим второй, падший

Имелся у Марьи Митривны и Егора Гавриловича Солончаковых в хозяйстве их немалом ещё и баранишко. Чудной был зверь, точнее-то: чудаковатый. С овечьим стадом дел он не водил, живя отщепенцем и с сородичами своими не знаясь. В тридцатые годы такому лютому единоличнику Игарки было бы не избежать. «Это как пить дать, верно дак уж верно» – так говорили по этому поводу в Ялани.

Выхолостили барана хозяева молоденьким, на мясо проча. Однако проку из этого не вышло. Выглядел баран чрезмерно тощим. Да и был таким. А на шкуре его висело больше высохшей комками грязи и репья, нежели шерсти, так что и о

стрижке нечего было думать. Всякий раз, когда приходило время забивать скотину, тоскливо ощупывал Егор Гаврилович бока своего рогатого чудовища, беззлобно обзывал его кощею и оставлял пожировать до следующей осени, особой надежды, правда, уже не питая. Таким вот образом и дотянул баран до средних лет бараньих.

Прозвали его люди в Ялани Серафимом Вторым – в память о сгоревшем года три назад от водки Серафиме Павловиче Усольцеве. Говорят разное, когда и с чьей лихой помощи пристрастился Серафим Второй к спиртному. Большинство соглашается с тем, что случилось это в майские праздники и при содействии Чекунова Кости да товарища его Носкова Гришки. Ну а было это так как будто.

Отмечая на природе Первомай, Костя и Гришка поверх водки пили медовуху. Земля к той поре толком ещё не прогрелась, и возлежать на ней друзьям, несмотря на жар, пылающий у них внутри, скоро стало неважноту. Покидая полянку, они поймали за рога гуляющего, как на грех, рядом Серафима Второго, имени этого тогда ещё не заимевшего, и влили ему в глотку остатки хмельного, в них самих почему-то не вместившегося. В День печати на том же самом месте, куда случай – или «дурная тяга»? – снова привёл и барана, они повторили злодейство. Так оно было или нет, сказать с уверенностью трудно, тем более что обвиняемые, Костя и Гришка, без фальши в голосе отнекиваются – клянутся даже! – и припоминают те праздники иначе, а именно:

Полянка представляла, мол, собою небольшенькую проталинку. Снег вокруг полянки был настолько, дескать, глубок, что пробирались они туда с двумя бутылками водки, ведром медовухи да с рюкзаком снеди по-пластунски и не менее трёх часов. По-пластунски, говорят, и выбирались, сколько времени – не помнят. А проталинка, мол, оказалась до того, вблизи-то, «некорыстной», что на неё не то что приглашать барана, но и рюкзак-то невозможно было где на ней поставить, рюкзак – и тот пришлось держать всё время, дескать, на коленях. Да и вообще, насколько взора их хватало, вокруг скотины никакой нигде не наблюдалось, а вся эта скотина, коли уж на то пошло, сидела еще по дворам и завозням и «носу на улицу не казала».

По Марьи Митривны словам, всё обстояло по-другому:

Весна того года выдалась ранняя. Снега к майским не было уже не только на полянках, но и в тайге, где вовсю уже цвели медунки и подснежники, так что скотина – в том числе и молоденький, глупый тогда ещё баран – паслась как раз

там, где «свинствовали» Костя с Гришкой.

Зрелых свидетелей преступления, кроме малолетних ребяташек, только и способных всё напутать или просто-напросто выдумать, не нашлось, да и найтись-то не могло, так как все были заняты по избам застольными интересами, как, кстати, и сама она, Марья Митривна, а потому и следствию конец, тем паче что и потерпевшему от этого – определись виновный или нет – легче бы не стало.

И тут добавить надо ещё только то, что некоторые яланцы до сих пор убеждены, будто пристрастие к алкоголю у Серафима Второго, как и у Первого, было в крови и когда-нибудь так или иначе бы да проявилось, и неизвестно, говорят яланцы, убеждённые на этот лад, что случилось бы с любым другим бараном, позволь ему долго жить или хоть раз преподнеси ему «чеклашку» водки, про медовуху уж и не толкуя.

Напивался Серафим Второй с того злополучного момента часто и, «подфартит когда», мертвецки, потешая яланских мальчишек и мужиков, а баб вводя в отчаяние. Поглазеть на барана-алкоголика приезжали и из соседних сёл, а уж из города – оттуда целыми экскурсиями.

Ну так вот.

В то время, когда всё овечье стадо, нагуливая вес, дружно щипало по косогорам траву, Серафим Второй околачивался возле Пятачка – места сельского общения – или у конюховки, где мужиками раскуривалось и распивалось. Приблизившись к гуляющим, он сипло блеял, стараясь обратить на себя их внимание.

Захмелевшие мужики искренне радовались его появлению, отыскивали поблизости пустую, широкогорлую посудину и наливали ему по-братски.

Серафим, не суется, выхлёбывал налитое и закусывал исключительно папиросами, предпочитая «Беломор» Канской табачной фабрики. Измусолив и проглотив пачку, подобрав отвислыми губами рассыпавшийся табак, он отходил, покачиваясь, в сторону и ложился в тенёчке, чтобы не мешать разговору.

Продолжая бражничать, мужики наведывались к нему изредка, толкали его в бок ногой и спрашивали:

– Эй, морда! Слышишь?! Серафим! Очнись, рогатая холера! Тяпнуть не хочешь, а? А если хочешь, дак вставай, смотри проспишь, и не достанется.

Если хотел, мало того, мог если, Серафим приподнимался сначала на задние ноги, смотрел остекленевшими глазами в землю, вставал затем на передние и плёлся вслед за пригласившим. А выпить Серафим Второй мог не меньше любого мужика, не меньше, может быть, и тёзки своего покойного.

Мальчишки, веселья только ради, воровали дома бражку и потчевали ею Серафима до рвоты, после чего тот – не евши, не пивши – дня три-четыре отлёживался в репейнике или в крапиве – там, где никто, кроме сорок, его не беспокоил. Потеряв и отыскав питомца своего, при этом досыта набегавшись, Марья Митривна накидывала на его рога верёвку и по грязи или по пыли, а то и по слякоти или по снегу, почти волоком, ругаясь, тащила его, полутрезвого-полухмельного, к себе на двор. Неделью-две после привода сидел Серафим в стойке – в «отрезвителе», как говорил сочувственно Егор Гаврилович, – томясь от вынужденного там воздержания. Но, то ли сжалившись, то ли побаиваясь, что узник дверь сломает, сам ли захлестнётся об стену, Марья Митривна его выпускала, надеясь втайне, может быть, что тот вдруг образумится.

– Беги, беги, сдрешной! – вслед ему говорила Марья Митривна. – Авось, балда, когда-нибудь допьёшься – свернёшь башку-то себе где-нибудь, так ли подохнешь вон, как Серафим, покойничек, – и добавляла иногда под настроение: – Какой хозяин, но, такая и скотина... правду ведь люди-то толкуют.

Смерть всегда выждет случай или все случайности сведёт к одному.

Меньшиков Семён варил на летней кухне медовуху. Воздух на месте не стоял, а разгуливал по Ялани. Серафим Второй тем временем отдыхал на берегу Куртюмки в зарослях одичавшей конопли. Уловив принесённый утренним ветерком запах варева, он вострепнулся, мотнул башкой, вытряхивая из неё сон, поводит носом, сориентировался и, вскочив, посеменял шатко к Семёновой постройке. А подбежал когда к забору и уткнулся в него лбом, заблеял сипло.

– Тут как тут! – увидев гостя в щель между заворинами, сказал Семён. – Нюх у тебя, парень, как у моей Марфы. Вам бы с ней посостязаться. Нет ничего. Проваливай. А? Чё ты там?.. Эта-то?.. Нет, ещё парная, не созрела, с неё и толку-т никакого. Другой, прости, не припасли уж.

Но убедить Серафима Второго оказалось не так-то просто. Заворины под натиском его рогов едва держались.

– Ну, вдох и в выдох, нахалюга! – ругнулся Семён раздражённо. – По-русски сказано же: нет! Если бы было чё, дак разве жалко!.. Жри б ты её... А-а, подожди-ка, – заглянул Семён в приготовленную для свежей медовухи флягу, приподнял её, побултыхал и вылил из неё в ведро старую гущу, затем переставил ведро через забор и сказал: – На, паразит!.. Лакай, паршивец. Тут гуща – ею и закусишь... не барин. Подать больше нечего... Как-то не выплеснул ещё... везучий.

Знать бы ему, Семёну, наперёд, к чему приведёт его щедрость, не взял бы греха надушу, в бурьян бы лучше гущу эту выплеснул, да «не знатьё же ведь», как объяснил он вечером того же дня эту «промашку» жене своей Марфе, на что та и заявила:

– Как был, припомню, бестолковым, так бестолковым и помрёшь, наверное, и на могиле на твоей напишут: дескать, дурак лежит тут, люди дорогие, плюньте! Делают другие – пусть делают, а ты – подальше от греха. Ещё ляпни где-нибудь – ума-то хватит, – что твоя это работа. Марья узнат, совсем со свету сживёт. И так-то всё проходу не даёт, чуть чё, так и напомним, как вы с Костей тогда огород ихний с конюховским двором перепутали и всю картошку у неё поистоптали на коне. Мало тебе ещё, дурак?!

А Серафим выхлебал то, что удружил ему Семён, постоял ещё, покашлял, пока угостивший его хозяин, перегнувшись через забор, брал ведро и уходил к плите, затем, бодая понуро землю, побрёл к своему лежбищу.

Но подремать ему не удалось: досаждали мухи, пауты и слепни, приставали наглые сороки, а без этих уж нигде ничто не обойдётся, да стрекотал занудно под самым ухом кузнечик. Серафим поднялся, покинул заросли конопли, перешёл вброд Куртюмку и направился к Пятачку.

А там, на Пятачке, с утра до вечера последние предсенокосные дни канителились мужики. И среди них – не на лавочке и не на чурке, а на корточках, – покачиваясь и упираясь изредка рукой в полянку, пребывал на этот раз Чекунов Константин. Покачивался он потому, что был не просто навеселе, а в восторге величайшем. Навеселе Константин мог застыть и не колыхнуться в таком положении часа на два-на три и в своё время пересиживал так привычного ко всему китайца Ваню Ма, у которого по-соседски, вероятно, и выучился отдыхать подобным образом, выучился и превзошёл учителя. И пусть не к слову будет сказано, но знаменит Костя ещё и таким вот случаем. Сидел он

как-то так же – в такой же позе и в таком же состоянии – у конюховки. Подчалил к нему сзади здоровенный бригадирский пёс по кличке Гитлер и, безразлично глаз на мужиков скосив, расписался на Костином выходном, чёрного сукна, пиджаке.

«За пень тебя он, чё ли, принял?» – давясь от смеха, мужики тогда предположили. После этого с год, наверное, приставал Костя к бригадиру с тем, чтобы тот возместил ему пусть не моральный ущерб, так хоть порчу, ибо ходить и пахнуть «гитлеризмом» он не может, а, дескать, дух его ничем не истребить, но бригадир ловко и дерзко при этом выкручивался, говоря, что, мол, не он же нанёс ущерб этот и порчу, а Гитлер, с него, дескать, и спрашивай. А с Гитлера какой спрос. Тогда Костя публично пригрозил бригадиру, что он, Чекунов Константин Северьянович, гадом будет, но избавит Ялань и всех добрых людей мирового сообщества от этого фашиста, однако по отходчивости и мягкости своего характера угрозу так пока и не осуществил.

И вот (всё к одному: не сиди на Пятачке Чекунов Константин Северьянович в таком положении и состоянии, не подоспей сюда к этому моменту и в таком разжижении духа Серафим Второй – никто не знает, как сложилась бы его, то есть барана, дальнейшая судьба) обошёл Серафим большую лужу и предстал перед обществом. Собравшиеся, поприветствовав его бегло, забыли о нём скоро, а тот, кто и держал его в поле зрения, не придавал значения его странным наклонам головы и перебиранию ногами: дескать, подвыпивши баран, ну так и пусть себе куражится. Но тут – и кто бы мог подумать! – закончив прицел и примерку да нащупав опору, Серафим стартовал, набрал возможную для него скорость и боданул Чекунова Константина Северьяновича в спину. Сбив с чурки зятя своего, пчеловода Треклятова Прокопия, Костя вытянулся на земле среди сплёвок и окурков, не более как через минуту резво, словно отпружинив только что, вскочил, сообразил, в чём дело, и, подбежав к застывшему как памятник барану, ударил его сапогом под бок, да и другой и третий, после чего «памятник» и опрокинулся вверх копытами. Ухватив падшего Серафима за рога, Костя потащил его в грязь, где и натыкал ещё мордой. И лишь потом – под гром попадавших от смеха с чурок мужиков – так высказался Костя:

– Пьянь! Выродок, в овечку-маму!

Тем же днём в самый жаркий час у конюховки, куда он кое-как доковылял, Серафим Второй, вздохнув протяжно и тоскливо, приказал себя яланцам долго помнить. Так и лежал он – одним глазом, запечатанным высохшей грязью, к

земле, другим, открытым, – к белёсому от зноя небу. Мухи облепили его многочисленные ссадины и гнойное веко. Сороки и вороны, рассевшись по забору и столбам и скребя об дерево своими клювами, были готовы справить по нему поминки – покойный, часто катая на спине их, при жизни снисходительно к ним относился.

Вечером Егор Гаврилович и Марья Митривна, погрузив труп Серафима Второго на телегу и прикрыв холстиной, повезли его в ельник. Переезжая Куртюмку, Марья Митривна, ткнув мужа локтём в спину и указав на заросли конопли, спросила:

– Кто это?

– Где? – спросил Егор Гаврилович.

– Аэвон.

– А-а.

– Дак кто?

– Да кто, кто... Костя, кто ж ещё-то.

– У-у, выродок, у-у, пьянь, – сказала Марья Митривна, погрозив лежащему в конопле кулаком.

Телега, поскрипывая, вкатилась в гору, миновала дом Меньшикова Семёна и скрылась в ельнике.

На покосе

В воздухе густой, терпкий настой взрослых цветов и скошенной вчера и только что травы. В небе ни облака. Лишь только коршун над землёй парит.

И очень жарко.

Под мокрыми от пота платьями и кофтами бабы осолённые и горячие тела. Те, что постаре и похворе, косят в берёзовых тенистых закоулках дуброву. Помоложе и поздоровее – на самом солнцепёке – тяжёлую для рук и менее податливую для литовок, зачерстневшую без дождей долину.

Нет лёгкой косьбы, это когда глазами только косишь: когда смотришь, как другие косят, – тогда косил бы да косил.

Далеко раскинулся покос: до согры зыбкой, размытой маревом на горизонте. Многих косцов не видно. Только то там, то здесь слышится от них простенькая древняя песнь оселка, лещадки ли.

Бурмакину Коське годков шестнадцать. Коська ни править, ни точить косу не умеет. Или не хочет. Подступает то к одной тётеньке и говорит ей: срежь или отбей литовку, мол, то к другой – и просит: дескать, налопать. Бабы лопатят Коське с удовольствием: один мужик на всем покосе, да и – пока правишь, будто отдохнёшь, и передышка вроде бы оправданна.

Зычно зовёт от табара старая Матрёна:

«Ба-а-бы! На переку-у-ур!»

Прячут бабы литовки под валки: сталь, дескать, от прямого солнца портится. Собирают ладонями пот с загоревших треугольников груди. И с шеи. Стряхивают пот с пальцев. Быстро обсыхают ногти.

Коська первым бросает как попало косу, первым подбегает к костру.

На девчонку походит Коська, только белые усики с золотистой игрой на солнце отличают его от девчонки.

Забросан травой для дыма от комаров огонь. Отрывается дым от кострища и прячется в кроне пожившей, развесистой берёзы. Замирает. Будет дремать там, пока сонного его не съест день.

Падают с листьев наземь шлёпко гусеницы угоревшие.

Ложится Коська в траву, вынимает из матерчатой сумы кружку – чаю ожидает.

Подходят бабы. Опускаются, поджимая под себя натруженные ноги и охая. Долой с лица сетки. Сетками обмахиваются.

Курится на тагане ведро с крепко заваренной душицей.

Прокричал коршун: пи-и-и-ить – и понёс себя к реке, что петляет перекаристо за согрой. Над рекой пары влажные. Не держат они птицу, и сжимается в падении у птицы сердце сладостно.

«Чай готов, бабы», – говорит Матрёна, плотно смыкая губы тонкие кривого рта. Зубы её цинга съела на высылке. Нечего больше было есть цинге, наверное.

«Наливайте, потчуйтесь», – говорит старуха бабам.

«Пей, Коськантин, – предлагает она Коське. – Воды не жалко; вода и воздух у нас пока что ещё бесплатные».

Черпают бабы прямо из ведра, отжимая донцами кружок стебли испитой душицы. Вкусный чай. Далеко несёт безветрие его запах. Сбивает пчёл и шмелей с толку. Подлетают те к пьющим, гудят рассерженно.

Выкладывают на разноцветные, разнозаплатные подола из своих скудных торб бабы молодой лук, чеснок, черемшу и яйца, нет только хлеба. Кто-то и солью в коробке богатый. Зубы в зелени и в яичном желтке.

Есть лучше, чем косить, думает Коська. А ещё лучше пить ароматный чай. Чай не пил, говорят бабы, какая сила, чай попил – совсем, дескать, ослаб. Зажал Коська двумя пучками травы-шубницы горячую кружку, пар сдувая, отпивает маленькими глотками чай и поглядывает на Ольгу Устюжанину. Ох и хороша Ольга, и сейчас, конечно, и тогда, когда в ситцевом платье в огороде, напротив Коськиного амбара, поливает огурцы. У Ольги из травы виден лишь розовый, с облупинами нос. Да где-то там, из-под белого платка вырвалась на волю чёрная прядь. Замешалась в клевере белом. Спуталась. Здорово Коське, прищурившись,

смотреть исподтишка на розовый нос. И ещё: наматывать мысленно чёрную прядь себе на палец.

Напились бабы чаю. Развалились. Пожилые прикрыли глаза – дремлют. Молодые в небо глядят: каждая своё в нём, в небе, видит. Матрёна в дымокур травы подкидывает, трава сгорает быстро, знай подбрасывать. Не любят комары дыму. Отлетели. Звенят среди стеблей и листьев поблизости, но сунуться к костру не смеют.

«Ко-о-остенька, – трогая свою грудь, говорит нараспев Панночка Рашпиль, – хошь бы похвастался, ли чё ли».

«Похвастайся, Коська», – уже другой голос.

«Да отвяжитесь вы от меня, – отвечает Коська, опускаясь ниже – прячась от розового носа. – Вчера весь день привязывались, как прибзднутые, сёдня опять вон за своё».

Смеются бабы. Тает смех в знойной духоте.

Тогда мы сами, мол, посмотрим.

Да, ну а пуп не надорвёте, дескать!

Не надорвём, мол; покажи-и-ы.

А шиш, мол, с маслом не желаете!

Масла – само собой, и на твоё добро уж жуть как хочется полюбоваться, дескать.

Ну и любуйтесь на своё, мол, я-то вам чё, кино какое, что ли!

На своё мы до тошнотиков налюбовались, дескать, а твоего, свеженького, ядрёненького, вот даже и не видели.

Бригадир, мол, приедет, у него и спрашивайте, он вам такого покажет, что глаза ваши поганые на лоб повылазят и лопнут.

А чё нам бригадир, дескать, у бригадира есть кому смотреть, а на тебя пока и обидеться некому.

Да, мол, катитесь вы куда подальше!

А-а, дескать, вон ты как!

И смех густым облаком долго продержался, долго смех не растворялся в воздухе. Навалились бабы на нечаявшего Коську. Втиснули руки его коленками в моховник влажный. На ноги ему насели. Свинцовые у баб тела. Плюётся Коська, ругается матерно. Окусить какую – не дотянешься. Взбухли на лбу и на шее у Коськи жилы. Лицо пунцовым сделалось. Не справиться ему с бабами. Ремешок расстегнули, к ширинке подбираются. Матрёна головой качает, стыдит баб, кипятком их остудить грозит. Ольга вдаль, на берёзовый околок глядит отстранённо.

«Отпустите, стервозы! Сам покажу!»

Раскатились бабы, давясь хохотом.

Вскочил Коська, забежал за оглаженную за ночь, но не осевшую ещё копну. Спустил до колен штаны. Выбежал. Белые бёдра и рыжий лобок. А грех не виден, грех солнце прикрыло.

«Смотрите, старые суки!..»

«Да какие же мы старые, это ты уж шибко молодой – ещё серьёзный».

Ринулся Коська в соседний березничек. Упал там ниц. Зашёлся горькими.

Ругает Матрёна баб, называет их бесстыжими девками. Сжимает рот беззубый тесно. Просит прощения для всех у Богородицы, кивая при этом на небо, но не смеет на него взглянуть: высоко больно. А у девок скулы уже ноют. Смех на исходе, но боек ещё. Давно так не смеялись – уж и к добру ли?

«Мы ведь так, в шутку, – оправдываются, – в шутку же, тётка Матрёна».

«Кто ж так шутит над ребёнком, разве нелюди», – говорит им та.

И гулко топот. Совсем рядом. Выехал из тальника всадник. Подскакал к табору. В стремени, спешиваясь, завис – повело коня: грузный наездник.

Крупный мужик бригадир Иван Виссарионович Нестеров, бывший кулак, угодивший с Ялани на строительство Игарки, рук рабочих, видно, не хватало там, из Игарки – на фронт, под Москву, после ранения – в Ялань – отвоевался, замкнув один из кругов. Уздечку закинул коню на спину. Не боится, что убежит конь. Учёный Карька: от хозяина не бегают.

«Здорово, бабоньки», – говорит бригадир.

Говорит бригадир редко, после каждой куцей фразы желваками подолгу работает: следующую формует – так, наверное.

Зачерпнул из ведра. Отпил.

«Чего веселье-то такое? – спрашивает. – Работы мало? – улыбается глазами. – Я подкину. Или усталость не берёт вас никакая?»

Посмеялись бабы вопросу: чё усталость, дескать, нам, коли мы лошади двужильные. Но причину смеха пояснять не стали.

Только Матрёна – та губами недовольно шамкает. Венички впрок из душицы увязывает: не на каждом покосе она, душица, попадает.

«А где охранник ваш? – спрашивает бригадир. – Кликните-ка кто его, если здесь он где, не уполкал куда на речку».

Позвали бабы громко Коську, позвали раз да и другой. Только крикнули когда, что бригадир приехал, хочет его видеть, после того лишь и явился.

«Ступай-ка, Константин, домой, – говорит бригадир, глядя не на парня, а в кружку. – Мать твоя там захворала».

«Ну вот, – забранились дружно бабы, – одного мужика – и того от нас забираешь!»

«Ничего, ничего, не умрёте, – говорит бригадир. – Пришлю другого; может, кого постарше в мэ-тээсе ещё выклянчу... Карьку-то я тебе не дам, – говорит бригадир Коське. – Ноги у тебя молодые, испорченные, – говорит бригадир, – добежишь как, не заметишь – пой только шибче и беги».

Спрятал Коська, носом хлюпая, в суму свою кружку, забросил на плечо суму – и показал бабам спину, не попрощавшись с ними. Уходил, уходил – и скрылся за рано пожелтевшей ольхой.

«Чё ж ты, и в самом-то деле, Сильоныч, последнего мужика у нас отнял? – ворчат бабы. – Чё уж стряслось такого страшного там с Зинаидой?»

«Ничего, – говорит бригадир. – Очухается, – и смотрит в костёр. И добавляет: – Похорошки две пришли... на Степана и на Кольку... А Зинаиду Бараулиха, едва успела, из петли вынула, дак еле-еле отводились».

Перекрестилась Матрёна.

Перекрестились верующие.

И неверующие – те крестом себя как будто осенили, неловко так, но – вдруг да поможет, обережёт своих там сила крестная.

Допил бригадир чай. Положил на окось кружку дном вверх аккуратно. Встал. К коню подался. Подступил. Уздечку ухватил, в стремя ногу вставил.

«Гляжу, мальчишку затравили, – говорит. – Покос добьёте, переходите ко второй бригаде. Большую, за родником Горьким, долину в Култыке докосить завтра надо, проверяющий будет».

Закинулся в седло. Коня шатнуло. Выправился конь.

Зашумели бабы: сколько же робить-то, мол, можно, не железные, и спины вон не просыхают. Нам и тут еще вон, дескать, до морковкиного заговенья не управиться, а для себя ещё и ни копёшки не поставили.

«Ничего, – говорит бригадир, – завтра, гребни если не насохнут, ночевать домой пойдёте».

Стегнул Карьку. Приоземлил Карька круп. Выкинул вперёд ноги. Понёс седока с уважением.

Поднялись бабы, вздыхая, обулись в скинутые на перекур чирки, накинули на лица сетки и побрели к своим прокосам.

Запели хором вскоре оселки. Повалилась трава, валками на ровном высится упруго.

Поглядывают бабы на солнце: скоро ли скатится оно к вечеру, скоро ли наползёт прохлады, скоро ли удастся на часок-другой глаза сомкнуть?

И нет, похоже, ничего радостней для коршуна, чем смотреть с выси на разноцветных баб. Прилетел, затянул своё: пи-и-ить, пи-и-ить! Хоть бы уж дождь пошёл и стервятника бы напоил, напоил бы стервятника и бабам бы передохнуть позволил, да гребни бы при этом не испортил – но бывает ли такое?

Солнце, зардевшись, покинуло косцов. Сузив круги, снижаясь и удаляясь в сторону хребта, засиневшего на горизонте, оставляет их и стервятник, чтобы уснуть пораньше, чуть свет подняться и прилететь опять сюда. И бабам тоже хочется иметь крылья: где-то там, куда каждый вечер скрывается солнце, их мужчины, могилы ли мужчин, лишённые горькой заботы. Цветы, запахи, звуки, трава, птицы, звери и деревья – все и всё, чему и кому нет никакого дела до войны, живёт извечной и привычной жизнью. Радует тихому, не последнему закату перепёлка: фить-и-рю, фить-и-рю. Фить – это она, а Рю – дружок её, наверное. Кузнечики куют деньги, ещё-то что же, чеканя на них свои профили, а может – бабочек. Одинокий печальник перелетает с места на место и твердит уныло: кто не со мной, тот против, мол, меня. Плещется в реке рыба: охотится за мошкой. Широко, долго расходятся по воде круги.

Зябко отдавшим работе все силы бабьим телам. Облоклись бабы в мужские пиджаки и куртки, повесили на плечи косы – на заимку направляются. Сыреют от росы чирки, скользят по траве подошвами. Со склона не видать избушки: съел её туман, распадок затопивший. Только дым от костра прорвал рыхлое тесто тумана, потянулся в свободное, темнеющее небо.

С шумом пронеслась утка: гонится за нею ночь.

Пужинали чем Бог послал. О картошке да о хлебушке мечтая, повалились спать.

Душно. Потный запах.

Не спится Панночке: на белый платок в сумерках избушки недобро смотрит – ненавидит Панночка тут же уснувшую Ольгу, ненавидит в ней она непроснувшуюся ещё женщину. Выходит Панночка в ночь, чтобы успокоиться её прохладой.

Не спит старая Матрёна. На коленях стоит за избушкой – когда-то их родового поместья. До земли её поклоны своему Собеседнику. Говорит Господу:

– За Митрея Сильоныча Нестерова прошу Тебя, Господи, не откажи в просьбе, Батюшка, жене его и рабе Твоей Матрёне, освободи память его от года того страшного. За Лександру Марковича, отца своего, прошу Тебя, Батюшка, освободи его память от года того горького. За детей своих, Батюшка, за Митеньку, Коленьку, Васеньку, Сергоньку, Стёпушку, за Галину, Марью, Валентину, Надёжу, Лидию, Батюшка, прошу-упрашиваю, лиши их памяти от году того скверного. За себя прошу, Батюшка, накажи меня грешную за то, что двойняшек своих, Ваню и Глашу, некрещёнными заморозила, дак и то – родить пришлось в обозе. Накажи меня, Господи, памятью неослабной. Кротостью, трудом, старанием и молитвами воздам, слезами не могу – исчерпались. А как предстану, Господи, обратиться дозволю к Тебе: Ты уж нам всем собраться вместе разреши там. За тех, за всех тех и за этих, Господи, молю-умоляю, а то ну сколько так-то...

Ненавидит Матрёну Панночка, но помешать её беседе с Богом не решается.

А солнце уж готово вынырнуть из-за хребта.

И на заре уже сверкают косы.

И уже блудит в небе коршун, ищет зоркими глазами разноцветных косцов.

Жизнь продолжается.

Смерть не исчезла.

1978

Пока темно, спишь

– Ничё ещё, пока темно-то, вроде спишь. А как свет чуть забрызжет, и сетку прямо хошь натягивай. И в сетке спи. Другого выхода тут нет. Дак а дышать-то?.. В сетке, пожалуй, задохнёшься.

Захар Иванович уж и тюлевой скатёркой лицо покрывал.

– Да чё там тюлевая и скатёрка, смех один, когда они и скрозь штаны дегтярные прокусят. Откуда только их, вертихвосток, и понабралось? С вечера вроде всех извёл. И в той, и в этой половине, и на кухне с фонариком выходил тщательно – не оставалось вроде ни одной, разве где, шныры, затаились... А Матрёне вон – той хошь бы хны... Вы только гляньте на неё... Ты посмотри-ка, посмотри: спит, мать её, и в ус не дует. Не поведёт и бровью даже. Они, заразы, по губам ей лазят, в норки забраться норовят, а она... Хм, ну и порода. Ни клопы ей, ни мухи. Да ну – противно, но и чикотно же. Рой ос бы на неё, на колоду мшалую, или шершней. А ей хошь шершней, хошь весь зверинец на неё напусти, шило хошь возьми и шилом в неё тычь, дак один хрен, до времени глаз не растворит. Кожа, поди, свиной потолще. Да ни в какое и сравнение. Не кожа, а рогожа. Эвон чё. Это куда ж годится-то... Кольчуга. Панцирь. Ну, сударыня.

Пальцами ног ущипнул Захар Иванович сударыню свою за икру, а сударыня – та только глубже, словно помянула кого, вздохнула, но не проснулась.

– Из такой кожи обутку сделай, дак износу ей не будет. Хм. Заорать, ли чё ли, что Зорька отелилась? Что сено с огорода увезли, что... Глупось. Глу-упось. Тут хошь саму вместе с койкой на площадь вон на трёх бульдозерах вывози да... Пусь дрыхнет, может, во сне чё умное увидит. Зверство, конечно, получается какое-то – лютое: мужик не спит, мужика мухи заглодали, мучается почём зря мужик, а эта... туша... он как ноги-то расшеперила. Как деушка. Не баба, а... не сопоставишь.

Ничего не пришло на ум, с чем можно было бы сравнить жену, и Захар Иванович с головой забрался под одеяло. Но скоро обнажил лицо.

– Фу! Тьпу-у-у! Не баба, а печка.

Стянув с себя пропотевшую рубаху и разогнав ею назойливых насекомых, он укутал рубахой голову, а руки спрятал под подушкой.

– Так-то оно лучше. От них же, пакостей-то этих, ну никак. В подполье хошь – туда залазь. Собаки... да не собаки, нет, собаки чё там, супротив этих они смирные, а штрафники какие-то – шальные. Никогда раньше такого, чтобы язвы эти кусались, не бывало. И от стариков не слыхивал. И отец, не помню, чтобы жаловался. Понанесло же кровопиек. А может, меняется всё в мире потихонечку: кто раньше не кусался, теперь кусаться будет; кто прежде так, тот теперь эдак? Глядишь, и с Матрёной чё-то переменится. Да это вряд ли. Разве что в ширину ещё раздастся. Китайцы, наверное, плодят там да распускают – раздружили с нами, дак и злобствуют. Неровён час, что и болезнь каку растаскивают. Летают, жужат, верещат... а на лапах... гранаты, мало ли...

Задремал Захар Иванович. Но пригрезилось ему что-то беспокойное: не то били его, не то задушить пытались – ездил он по подушке укутанной в рубаху головой и сучил ногами так, что порвались штрипки на исподних. Одеяло сползло на пол, оголив его спину. И мухи тут как тут: насели, забежали, защекотали, то и дело впиваясь ему в тело.

– Ох ма-а-ать честная!

Захар Иванович сорвал с лица рубаху, взглянул на часы, но стрелок в сумерках не различил.

– Да это чё же за такое-то! Матрёна-корова-не-доёна, амбар увозят! Сено горит! Зорька медведем отелилась! Трусы твои – сохли – с верёвки воробьи утащили! Сдохнуть легче, чем спать с тобой на одной койке! С покойником – с тем-то и то, наверное... да тьфу ты!

Захар Иванович сорвался с кровати, включил на всю, что называется, катушку «Альпиниста», подаренного ему на шестидесятилетие соседом Арыниным, и принялся собирать разбросанную с вечера одежду.

“...Для жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири... Рывки руками и встряхивание кистями...”

Захар Иванович вспомнил вдруг своего старинного приятеля Кеху Бродникова. Приняв лишнего, Кеха безо всякой на то причины и без повода начинал размахивать, трясти, словно в судорогах, своими руками, вывёртывать их всевозможно и невозможно и при этом козлогласить: «Я – Кеха Яланский! На меня где сядешь, там и слезешь! Чужого не возьму, но и своего не отдам! Кто в лес, а Кеха – в ельник! Лес рубят, а Кеха ползай, щепы собирай! Лежит – чужое, подобрал – моё!» – и так бесперечь и безумолку, кого хочешь из себя выведет, и выводил.

«...Ноги на ширину плеч, руки в стороны...»

– Где-то я такого уже видел? Точно такой же вот придурок... А-а, в Елисейске, на автовокзале, туалет – дак на двери там. В Бородавчанске тоже вроде есть. Только те в шляпах. Может, чё, и этот в шляпе... Неузнашь, его не спросишь.

Натянув штаны, согнувшись и пальцами забравшись в штанину, расправлял Захар Иванович завернувшиеся до колен кальсоны.

– Громшэ, громшэ уж ори, всех там пособири, давайте скопом уж... Где она, гача эта проклятушша... Матрёна готова: и ноги вон на ширине, и руки в стороны, а чё дальше делать, и не раслышит, бедная. Да на гармошку, или чё там у тебя, дави пошибче. Силы нетуже, ли чё ли? Или не покормили тебя перед этим?

Захар Иванович развернул наконец-то исподние и связал обрывки подвязок.

– Куда ты гонишь, полудурок! Штаны застегну, тогда и присяду. Матрёна, руки, человек тебя просит, в локтях согни. Вишь чё, парень, ты ей одно, она другое, ты ей – руки, а она тебе – ноги. Такую и на туалете не нарисуешь. Вообще-то оба хороши вы. Сам, небось, рад, что не видно, на табуретке там, поди, расселся, а людей спозаранку кости ломать заставлять. Хе-хе: согнуться, достать пальцами... с табуретки-то, может, и можно, а тут согнёшься и не разогнёшься... Сколько же на ней придурков, на земле-то, развелось.

Захар Иванович поднял с пола и бросил на кровать одеяло. Кинул взгляд на жену.

– Па-ава, ядрёна вошь.

Не выключив приёмник, он вышел из спальни, затем, громко брякая на кухне рукомойником, помылся, высморкался в таз с ополосками и покинул дом.

С крыльца шумно разбежались курицы. И только петух, косясь на хозяина и переминаясь, озяб как будто, с ноги на ногу, то ли растерявшись, то ли – на риск свой и страх – вообразив себя храбрецом, остался на месте. Пёрышки у гребня медленно приподнялись, а один глаз его наглухо вдруг запечатало веком. С ходу хозяин ловко поддел птицу носком сапога и отправил её вверх.

– Ты мне ещё тут.

Получив помощь, петух взлетел на забор и, словно только этого и ждал, сипло закукарекал.

– Проснулся, вспохватился, дурак голенастый. Поори, поори, харя пустоголовая. Давно уж топор по шее твоей плешивой плачет. Заткнись, тебе сказано. – Захар Иванович взял Матрёнину калошу и замахнулся ею.

Бог знает куда смотрел в это время петух, глаз ли его так ещё и не раскрылся, но опасности он не заметил и продолжал притворно горланить, пока точно запущенная обутка не прилетела ему в бок и вместе с ним не упала за ограду.

– Научу, ядрёный корень.

Захар Иванович присел на ступеньку крыльца и закурил. Дымок потянулся лениво к навесу, обогнул его плавно и канул в утреннем воздухе.

Эх, винтовка-пистонка.

Небо затянуто сплошь невесомой пеленой, и лишь по востоку, там, где над забором виднеются макушки едва озарённых сопок, светится жёлтооранжевой полосой. Из ельника, сама по себе или кем-то испуганная, взметнулась стая ворон и, галдя о чём-то во всё горло, полетела в деревню – завтракать, наверное.

Эх, сушесво-вешесво.

Где-то напротив, проскрипев протяжно и тоскливо, напомнили о себе ворота. И тут же послышался женский голос: «Ну-ка, пошли отсюда! Нашли место! И чё вас привязало-то тут только! Всю уж подворотню залепили, холеры. Негде им больше. Шли бы вон к речке, там бы и околачивались. На всю деревню одного пастуха найти не могут».

Звякнули вёдра.

Захар Иванович заводил головой туда-сюда, пытаясь через щель в заборе обнаружить кричавшую только что женщину. Увидел, оглядел её снизу доверху и ухмыльнулся.

– О-о-о, Арыниху тоже, никак, мухи с кровати согнали, то-то такая злющая: коровы помешали ей... всё ничё, а тут, смотри-ка...

«Нам бы с Араниным бабами... или хошь кожей бы на этот-то период поменяться. А то везёт же дуракам, – подумал Захар Иванович. – К зиме бы, ладно уж, обратно».

Прохладный, сытный воздух, утренняя благодать, несколько затяжек натошак из крепкой папироски, поднявшаяся с постели, если и не раньше, то одновременно с ним, зазноба его молодости, Арыниха, и попавшийся под ногу петух развеяли совсем уж дурное расположение духа Захара Ивановича, так что, когда спустившийся с крыши кот, большой и белый, взбежал по крыльцу и, выгнув

жирную спину да мурлыча простуженно, принялся, потираясь, расхаживать возле него, Захар Иванович, как было бы обычно, не щёлкнул кота промеж глаз, а ласково даже потрепал его за обмороженное когда-то, раздвоившееся ухо и молвил:

– Ну, что-о, Бельмотро-о-он, наво-о-ошкался вдо-осталь, натешился? Отвёл, поди, свою душонку кошкадронскую. Вот сукин кот, мне бы твою жизнь. Ладно, ладно, хватит об меня шоркаться, пеньжак весь шерстью мне своей увозишь. Паш-шёл! Кому сказано, а то... – и пристроил для щелбана Захар Иванович свой костистый палец.

Выученный, вышколенный хозяином Бельмотрон не заставил себя уговаривать – разом прервал свою монотонную, подхалимскую песенку, поник зарепеенным хвостом, выпрямил спину, лишь ненадолго вроде как задумался, будто вспомнил дела поважнее, засеменял к приоткрытой двери – и был таков в сенцах.

– Гадёныш. Но. Ни мышь тебе словить, а те уж обнаглели: с ним вместе из одной миски молоко лачут. Сволочуга. Ни детей тебе кормить, куда ни глянь, котята всюду белые. Нахалюга. Ага. Ни картошку тебе копать. Ни мухи его, падлу, не кусают. Всю жизнь на кошках прокатался. Удавлю к зиме паршивца. Прямо в ограде вон, на бельевой верёвке. Пусть Матрёна повзывает.

Пустил Захар Иванович дымное колечко и поставил встреч ему кукиш.

– Вот рёву-то где будет, не оберёшься. Как Султана хоронить, наверно, будет, со всеми почестями басурманскими, в караул меня ещё поставит. Не о ком боле печалиться бабе. Кот есть в доме, а мужика будто и духом не пахло. Этому и сливочки и брюшко почешет... Эх! И: «Бе-еля, Бе-еля». Гамне-ля. Пусть бы Беля твой тогда и сено бы косил, раз уж сливочки-то попиват. Пораньше встану, поймаю и удавлю, ага. Или ещё с вечера.

Захар Иванович накурился, напустил в патрон слюны, а после бросил окурочек под ноги и затоптал его.

– Кидаешь где ни попадя свои паршивые огарки. И кидаю. У тебя ещё я буду спрашивать: где, мол, Матрёна Митрофановна, окурочек прикажете приткнуть мне? Здеся? Тама? Или где? Ага. Нет, барышня, как где кидал, так и кидать буду. Не столб телеграфный – согнёшься и не сломашься, если и подберёшь где раз-

другой-то. Не цаца какая. На то ты и баба...

Захар Иванович поднялся, отряхнул сзади штаны и спустился с крыльца.

– Вот ведь!.. Ей хошь говори, хошь нет. Тыщу раз уж ей долдоню: не оставляй где попало колун – черенок-то не оловянный – прет, поди. Нет, мать вашу. Ну что, скажите, за мамзель. Не баба, а... обух от колуна.

Захар Иванович поднял с земли дровокол и отнёс его под навес.

– Ишь ты, весь оборжавел. Возьми, кто разе против, поколи, дак положи потом куда следует. Хошь объясняй, хошь заразобъясняйся, а хошь расшибись тут, с места не сходя вот. Век живут, и век нянька за ними приглядывай да бегай следом – собирай где чё за ними. А скажешь слово, дак ну что-о-о ты, дак ну Боже упаси, лучше уж и не связывайся, смотри, как бы глаза не выцарапали... Прямо вредительство какое-то.

Солнце горбушкой выглянуло из-за сопки. Его лучи обагрили белёные трубы и скворечники. Вспыхнули окна, к нему обращённые, и порозовели стены домов. Заиграла, веселясь, роса – словно обрела утраченные краски, потому и веселится. Там и тут запели горластые петухи. А на соседней улице пожаловался колодец-журавль: что ж, батюшки, неужто утро? И поползли, поползли, проникая в каждую щель, крепкие запахи разного варева и стряпанины, вызывая в воображении образы горшков, кастрюль и сковородок.

– Корова до отёлу не доится, дак, думат, и дрыхнуть, чё ли, до обеда можно. Соскочила бы, пирогов бы хошь сварганила, а то забыл, когда и пробовал уж, блинов, оладьев ли, губи-вашу-развашу. Послабь ей, гадам буду, век бы на койке и провековала. Ещё бы кто туда ей харч, паёк бы сухой приносил на подносе, ага... да в баню бы раз в... полгода бы таскал, вот уж бы рада-то была. До войны вроде с ней такого не было, шевелилась хошь малёхо, а после, будто мешком её по голове кто саданул – кантузил.

Остановился Захар Иванович посреди ограды и, прикрывшись ладонью, уставился на пухлое, рдяное солнце, уже отлетевшее от крон старых, корявых сосен. Примчавшийся из-за сопки тёплый ветерок напустился, погнал расторопно на запад морок, расчищая солнцу дорогу. И заметался по низинам отяжелевший за ночь, привыкший было к земле туман, не зная толком: пасть ли

ему и распластаться, росую притворившись, по траве, податься ли ему вверх и замешаться в убегающем мороке?

– Встало, родимое, поехало. Кажен день, без всякого омману. Это тебе не человек – она вон до сих пор лежит в кровати, нежится – и не часы, конечно, – опустилась гиря, кончился завод ли – и остановились. Пора – взошло, времечко – закатилось. Но. Хошь и не видно который денёк-другой, за тучами трудится, исходит потом, как трудяга-лошадь. Да-а. Отлигулировано. А ведь опять нынче разбыгат, разгуляться. Слушай знахарей этих, ага. Сколь-кой уж день у них по нашему району дожжы заливают, по-ихнему, дак море уж у нас должно разлиться. Хошь бы на смех где одна упала с неба капелюшка. Хошь бы одна, ага. По двадцать лет учатся, учатся, штаны отцовские об парты казённые протирают, потом усядутся там и: безо-о-облашно, так их растак, а тут носу на улицу не высунь – заливат; пройдут обильные... как они там... осадки, а здесь вон выходи, кричи Арынина и с ём в лото зудись хошь на полянке... Чё же мне это такое-то, а? Вот так-то это? Где же это, где? И воздух как-то... И солнце будто... И туман – тот вроде тоже... У-у... Нет, убей – не припомню. Наверно, пелёночное что-то.

Не выудив из потоков памяти того случая, который некогда вызвал в его сознании точно такое же ощущение, Захар Иванович окинул взглядом свой двор и направился к калитке, выводящей на бывший пригон, после перестройки двора превращённый в маленький огородник.

– Огурцы совсем уж вон пожухли. Пустыня будто – не Сибирь. На следующий год парники надо будет сделать в другом месте. Тут, правда, навоз ближе таскать, зато солнца меньше... вот когда ещё оно здесь появится – после обеда только. А без солнца они все у нас как-то: крючком, как уродец, вылупился – и окочурился, стыдно и людям на стол когда выставить. И не пустыня – тундра, так-раз-этак, в пустыне – в той-то хошь верблюды.

И забыл напрочь Захар Иванович, забыл, что сам три года назад в споре с женой и сыновьями настоял на том, чтобы из большого огорода парники перевести в маленький, где место выше, дескать, и теплее, ну а всего важнее, что мальчишки хорьковать тут реже станут.

– Её ж, толстопяту, не переубедишь, не перетолкуешь, здесь вот – и хошь тресни. Упрутся на своём, как эти... Барана – и того уговорить легче, нет, дак и по рогам его, упрянца, мазданул – поймёт. А этим и слова поперёк сказать не

смей – ну, что ты!

По увядшим уже огуречникам прошёл Захар Иванович к куче выброшенной недавно глины и, взойдя на неё, заглянул в довольно глубокую яму.

– Нормальный погреб. Куда уж глубже-то? Не Арынина же хоронить. Не промёрзнет – и ладно. Не знаю, чё ей ещё надо? Глубже? – дак лезь тогда сама да и докапывай... Витька бы хошь, что ли, сдогадал-ся – приехал на выходной, сруб бы помог собрать, да и хрен с ём, соберу сам, помог бы хошь спустить. Один яму вырыл, один и dokonчу, не надо мне ихей помощи. Обойдусь. Век обходился... Уж скорей бы Вовка отслужил, ли чё ли... Этот весь в нашу родо-ву, и карахтером, и обличьем. В голове-то у него побольше, чем у этих, митрофановских, пустоголовых. Глаза выпучат и: му-у-у, – так их растак.

Весь огородник под тенью дома: в огороднике день ещё не начался. В четырёх разноцветных ульях гудят пчёлы, но на леток не выползла пока ни одна: выжидают, когда испарится роса. Давно поприветствовали новый день лишь три скворечника: две дуплянки, серые, как пепел, и один, самый высокий, к тому же ещё и побелённый, смастерён из досок. Известь на нём кое-где дождями смыта и обшелушена ветрами. У всех трёх по давности лет на кедровых ветках нет уже ни иголки – мётлы лишь голые.

– Как на остояцкой могиле... Это когда же мы их ставили-то? Лет не пятнадцать ли назад? Да так. Да нет, однако, не двенадцать ли? Да точно: Вовка-то в первый класс тогда пошёл... Вот идь, в крестовину-перекладину, в ихих до сих пор скворцы да воробьи селятся, а к моему, самому ладному и видному, за всё время, однако, даже ворона хамская на ружейный выстрел не подлетала, только собаки на него, как на чумного, лают. И чё им, пичужкам, в ём не нравится? Просторно. Вроде и щели все утыканы. Да я, кажись, туда и вату клал. Лицом вон к солнцу. Взаправду, наверно, как дурак этот, Арынин-то, толкует, что в ём бабай с бабаихой разместились. Да и хрен с ними, с бабаями, живи они там. Есть-пить не просят. И им где-то обитать надо, а тут и за квартиру с них не требуют. Вовка придёт с армии, мы его переставим, в ограду вон перенесём... В голове у него, у Арынина, бабай живёт, ага. Заметно. И бабаиха с бабаятами – мозги-то с голоду все съели.

Захар Иванович прогулялся между ульями, смёл с летков дохлых пчёл, думая при этом, что медовуху надо бы сварить, пока всех пчёл варротоз не сгубил, затем осмотрелся по сторонам и вышел из огородника в ограду.

«Пойду-ка я схожу на брёвна, – подумал Захар Иванович. – Может, из мужиков кто там уж и сидит? Кого мухи, может, а кого, может, и похмелье выгнало из дому?»

Отодвинув заворину и открыв ворота, шагнул Захар Иванович на улицу.

Подняв с земли калошу, запущенную им в петуха, и через забор бросив её на крыльцо, направился он вдоль палисадника, заглядывая в запотевшие стёкла окон своего дома.

«Семь часов исленьского времени», – сказал «Альпинист» и умолк.

А Захар Иванович разглядел за стеклом суетившуюся в комнате жену и подумал:

«Подняла-а-а, бедная, коечку свою родиму заправля-я-ат. Ох, не сломайся, растуды-твою-ту-ды. Не перетрудишься. Это сколь же сил надо потратить – койку-то застелить, поберегла бы уж себя, мать бы с ей, с постелей, так бы полежала, один хрен вечером снова расстилать».

И захотелось вдруг очень Захару Ивановичу что-нибудь сказать своей жене.

– Эй!

Матрёна подошла к окну, протёрла запотев ладонью и кивнула: дескать, ну, слушаю.

– Ты пошто колун-то опять среди ограды бросила?! Весь оржавел уж.

– А я ли это! Очурайся-ка.

– Мне и очурываться нечего. Не Бельмотрон же твой с ним гулеванил, а он, дак я ему башку-то живо отверну!

– Опомнись-ка! Кто, я, что ли, вечёр на нём проволоку перерубала, а? – Матрёна взбила подушку и бросила её на кровать. От незаслуженного обвинения глаза Матрёны округлились – и так всегда, когда обидится.

Захар Иванович вспомнил, что вчера вечером он и на самом деле перерубал на обухе колуна проволоку для оплётки на остожье, но услышал, как ругаются у Арыниных, подскочил к щели в заборе, где и проторчал до скорых сумерек, а про колун так и забыл, увидев много интересного.

– Глаза-то не пучь свои, то – как лягуша. Уж ни в жись не признайся. Морда бесстыжая. Это уж после меня, долго ли я там порубил. Запомняла, дак так и скажи, нечего на других напраслину возводить. Привыкла всё на кого-то сваливать, – сказал так Захар Иванович и, уходя уже, добавил: – Носом в другой раз натыкаю. Сидит там... как раздрона.

Суха пыль на тропинках. Седа от росы трава. Тёмными следами избороздил поляны скот. Пожелтело солнце, удержишь на нём взгляд – переливается оно игриво из жёлтого в зелёное, из зелёного – в фиолетовое. Гонит ветерок облачную завесу, наполовину уже освободил от неё небо, не заметишь, как очистит всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/aksenov_vasiliy/malaya-prechistaya

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)